

РУССКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ 70—80-х гг. О ЩЕДРИНЕ

1. ОТКЛИКИ НА АНКЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА» Л. А. БЕРМАНА, Л. Г. ДЕЙЧА, В. И. ДМИТРИЕВОЙ, М. И. ДРЕЙ, П. М. ИВАНОВА, Е. Н. КОВАЛЬСКОЙ, А. П. КОРБЫ, А. И. КОРНИЛОВОЙ-МОРОЗ, Я. К. ПЕШЕКЕРОВА, М. М. ПОЛЯКОВА, И. И. ПОПОВА, А. В. ПРИБЫЛЕВА, Н. И. РАКИТНИКОВА, П. В. РОВЕНСКОГО, В. Н. ФИГНЕР, М. Ф. ФРОЛЕНКО, Н. А. ЧАРУШИНА, М. П. ШЕБАЛИНА, А. В. ЯКИМОВА и Е. И. ЯКОВЕНКО.
II. Л. Г. ДЕЙЧ. «М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН И РУССКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ».

Печатаемые ниже сообщения бывших народовольцев и других участников русского революционного движения 70—80-х гг. являются ответом их авторов на специальное обращение редакции «Литературного Наследства», предпринятое летом 1933 г. в связи с подготовкой специального номера журнала, посвященного М. Е. Салтыкову Щедрину.

В свое время Ленин, говоря о Толстом, ясно указал на тот признак, который является основным в определении гениальности автора «Войны и мира». «Если перед нами действительно великий художник, — писал Ленин, — то некоторые, хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях» («Лев Толстой как зеркало русской революции»). Ленинский критерий приложим и к Щедрину. Великий сатирик не дожил, подобно своему младшему современнику, до времени наступления первой русской революции, но он действовал на литературной арене в эпоху подготовки этой революции. Выяснить, как Щедрин — художник и публицист — воплотил в свои произведения черты исторического своеобразия эпохи собирания сил крестьянской революции — вот что, если следовать учению Ленина, является основным в определении места и роли литературного наследства Щедрина. Так поставленный вопрос может быть решен только путем анализа политического содержания щедринской сатиры, сделанного на основе ясного понимания характера русского революционного движения 60—70—80-х гг., его особенностей и движущих сил. Эта большая тема — основная тема марксистско-ленинского щедриноведения — естественно распадается при ее детальной разработке на ряд подтем. Одной из них является вопрос об отношении Щедрина к революционной практике 70—80 гг. Бесспорно, что без знакомства с отношением Щедрина к этому крупнейшему явлению его эпохи невозможно исчерпывающая характеристика его литературной деятельности. Но выяснить это отношение — задача столь же трудная, сколь и важная. Царская цензура, «позволившая» Щедрину, правда эзоповски, выявить свое непримиримо-отрицательное отношение к царско-крепостническому строю, а также назревавшему капитализму, лишила его вместе с тем всякой возможности отчетливо выразить свое отношение в героической борьбе революционного народничества 70—80-х гг.

Щедрин — один из крупнейших представителей революционно-демократической литературы. Своим оружием — гениальной сатирой и публицистикой — он действовал в стане революции. Но вместе с тем литература была его единственным, хотя и грозным оружием. В жизнь он вторгался лишь пером. Членом какой-нибудь действующей революционной организации он никогда не был, свои произведения всегда печатал в легальной прессе.

Одна из черт «исторического своеобразия» Щедрина в том и заключалась, что он был легальным деятелем революции в государстве помещичье-полицейского произвола. Своей сатирой он взрывал это государство, вел непримиримую политическую борьбу с царизмом, но за пределы литературы, легальной литературы, Салтыков свою борьбу никогда не переносил. Сам он глубоко и мучительно ощущал этот разрыв между революционной мыслью и делом, между редактируемыми им «Отечественными Записками» и революционным движением, между своей литературной деятельностью и «фактами самоотвержения» как эзоповски называл сатирик героическую борьбу народовольцев. Но преодолеть этот разрыв Щедрина не было дано. Даже многочисленные издания его запрещенных царской цензурой произведений в русской подпольной и заграничной вольной печати осуществлялись поведением без его согласия, или даже вопреки ему. В личном быту, как это показывает ознакомление с мемуарно-биографической литературой, Щедрин также почти никаких связей с революционерами не имел. Это относится и к его письмам, хотя конечно в них он был гораздо откровеннее, чем в своих произведениях для печати, почему его письма и являются столь ценным материалом не только в отношении их громадного идейного содержания, но и в отношении воссоздания политического портрета сатирика.

В свете вышесказанного понятно, почему для разрешения вопроса об отношении Щедрина к революционной практике 70—80-х гг. недостаточным является даже самое тщательное исследование высказываний самого писателя. Такое исследование не гарантирует всей полноты фактического материала, необходимого для серьезной аргументации широких выводов. Вопрос должен быть обследован и «с другого конца»: как относились, воспринимали, оценивали Щедрина сами революционеры, его современники.

Частичным осуществлением так поставленной задачи и являются собранные редакцией материалы. Мы подчеркиваем «частичным» потому, что своим обращением и самым диапазоном его распространения редакция преследовала и преследует цель собрать необходимые данные по интересующему ее вопросу о Щедрина не только от представителей трех домарксистских революционных поколений 60—70—80-х гг., но и от представителей старшего поколения — революционеров пролетарских. Завершение этой работы в ее намеченном объеме еще впереди. Здесь печатаются лишь первые результаты ее — ответы некоторых членов группы народовольцев при Всесоюзном обществе б. политкаторжан и ссыльно-поселенцев, и ответ «чайковца» Н. А. Чарушина.

Ответы народовольцев (в большинстве своем) являются авторизованной стенографической записью их выступлений на специальном заседании литературной комиссии кружка народовольцев, организованном по инициативе редакции «Литературного Наследства» для обсуждения ее обращения (сообщения были сделаны на двух заседаниях).

Ценность и содержательность печатаемых ниже документов несомненна. Перед нами ряд характеристик Щедрина, данных его современниками, непосредственными и видными участниками революционного движения. Особое значение и интерес имеет конечно статья виднейшего народовольца, компетентного члена «Народной воли» — В. Н. Фигнер. Эта статья, добавляя по существу несколько новых и ярких страниц к «Запечатленному труду», является новым, глубоко ценным документом из «летописи жизни» героического революционера. Специально в отношении Щедрина статья В. Н. Фигнер представляет, по сравнению с отзывами остальных членов народовольческого кружка, также особый интерес своей дискуссионностью, своим ярко выраженным «особым мнением». Почти все участники анкеты, за исключением В. Н. Фигнер и некоторых других в той или иной форме подтвердили основной тезис обращения редакции, который был сформулирован следующим образом:

«Великий и трезвый просветитель Щедрин был далек, если говорить о его личном поведении, от полноты активных революционных кругов русской интеллигенции; социализму и практике революционной борьбы за него, в прямом смысле, он не учил, но его сатира отрицала, ненавидела и разрушала весь окружающий строй самодержавного Глупова с его «острожной цивилизацией»... Объективно — путем злой и умной насмешки, через величайшую остроту своего обличения, через опромный пафос негодования —

Щедрин революционизировал сознание молодежи, подводил ее к идеям революции, идеям социализма.

Такая оценка политического значения сатиры Щедрина полностью подтверждается например в первом коллективном ответе, подписанном А. В. Якимовой, М. И. Дрей, И. И. Поповым, Н. И. Ракитниковым и Е. И. Яковенко: «молодежь, — читаем мы здесь, — еще не вполне выработавшая свои социально-политические взгляды, получала от Щедрина могучие революционизирующие толчки... революционная молодежь видела в нем своего верного и постоянного союзника... бойца, боровшегося за общие с ней идеалы тем оружием, которое да ему его мощный сатирический талант».

В статье «Щедрин и Ленин» покойный М. С. Ольминский писал: «Щедрин — прежде всего — художник. Не дело художника давать прямые советы и указания. Его область — главным образом область исследования тех психологических надстроек, которые не определяют, правда, форм классовой борьбы, но зато одухотворяют, облекают плоть и кровью личность, через которую классовая борьба получает осуществление». Этот призыв к классовой борьбе звучал, как показывает наша анкета, в сатире Щедрина для многих революционеров, в том числе и для самого Ольминского, бывшего народовольца. В той же статье например мы находим следующее любопытное признание автора: «Рассказ Щедрина («Хозяйственный мужичек» из «Мелочей жизни») заставил меня — и не одного меня — в 80-е годы очень задуматься как народовольца. Щедрин так в конце концов ставил вопрос: «вот честный, трудолюбивый крестьянин, не кулак; но с какой стороны возможно подойти к нему для революционной пропаганды? Выходило, что ни с какой».

Ольминский не развил свою мысль, но ясно, что он хотел сказать: сатира Щедрина так выпукло, наглядно показывала классовую дифференциацию деревни, классовую борьбу в ней, что не могла не являться одним из факторов, способствующих разрушению в сознании некоторых народников их основной концепции о «сплошности» крестьянства. А это сознание облегчало для иных из народовольцев их будущий переход к марксизму.

Понятно, почему такой видный деятель народовольчества, как В. Н. Фигнер, отрицает наличие каких-либо влияний Щедрина на свое революционное мировоззрение. Здесь не только несоответствие деятельности Щедрина суровым требованиям единства слов и дела, предъявляемым практиком революции, здесь глубокое идейное расхождение. Марксистам Щедрин всегда был ближе, чем народникам, хотя в своей практической деятельности сатирик блокировался именно с народничеством. Отсюда понятно и то, что правильно в общем характеризую революционизирующее воздействие щедринской сатиры на те кадры молодежи, из которых вырабатывались позднее профессиональные революционеры, большинство участников анкеты вместе с тем допускает ряд неправильных дискуссионных утверждений, дающих основание к неверному определению места, занимаемого Щедриным в истории русской общественной мысли. Почти всюду в ответах народовольцев Щедрин берется за одну скобку с «Отечественными Записками», Михайловским и Елисеевым, т. е. рассматривается как народник, без каких-либо оговорок и попыток определить своеобразие положения Щедрина в этом сложном и в разные периоды различного направлении русской революции (исключение — статья И. И. Попова).

Редакция не входит, здесь в обсуждение этих и некоторых других ошибочных утверждений, а лишь отмечает наличие их. Частично критику этих положений в применении к данному конкретному материалу читатель найдет в заключительной части статьи Г. Е. Зиновьева «Большевики и наследство Щедрина» (о выступлении В. Н. Фигнер) Критическое изложение темы «Щедрин и народничество» в ее общей постановке (отношение Щедрина к народническим теориям) дана в статье Я. Эльсберга «Народническая легенда о Щедрине». Обе указанные статьи помещены в настоящей книге.

Следует указать наконец, что в этом же томе мы помещаем статью Л. Г. Дейча «М. Е. Салтыков-Щедрин и русские революционеры (по личным воспоминаниям)» и сообщение Ф. Витязева «Щедрин и Лавров». Обе работы, не являясь «ответами» на нашу анкету, вместе с тем очевидно продолжают ее и дают вместе с сообщениями народовольцев интересный материал для будущего развернутого исследования на тему «Щедрин и революционная теория и практика его времени».

ОТ ЛИТЕРАТУРНОЙ КОМИССИИ КРУЖКА НАРОДОВОЛЬЦЕВ ПРИ ОБ-ВЕ ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

«Отечественные Записки» были в 70-х и начале 80-х годов любимым журналом революционной молодежи. И в каждой вновь вышедшей книжке прежде всего хваталась за стихи Некрасова, сатиры Щедрина, статьи Михайловского, Глеба Успенского, внутренние обозрения Елисеева.

Чем привлекал Щедрин молодежь и что он ей давал?

Прежде всего революционная молодежь видела в нем своего верного и постоянного союзника, сильного, наносящего ежемесячно меткие и чувствительные удары их общему врагу.

Молодежь читала и перечитывала «Историю одного города», эту яркую картину самого разнузданного российского самовластия, поддерживаемого невероятным холопством обывателя. Она училась на этих ярких картинах ненавидеть и презирать это тупое русское самодержавие и это не менее тупое русское долготерпение и рабскую покорность.

Молодежь рукоплескала неистощимым, всегда остроумным насмешкам Щедрина над либералами, над их умеренностью и аккуратностью, над их вечным приглашением «сидеть смирно и ждать», над их трусостью и половинчатостью.

Такие блестящие картины, как «Убежище Монрепо» и «Чумазный идет!» помогали молодежи отчетливее сознавать те перемены, которые нес с собою России буржуазный прогресс, и характер нового класса, который рос и множился по русским весям и градам. Щедрин нарисовал незабываемые картины того «прогресса», того обирательства, хищничества, разврата и попирания личности, которые нес с собою этот класс.

В ежемесячных статьях Щедрина молодежь находила неизменно острые отклики на текущие политические злобы дня. В них доставалось и Удаву, и Дыбе, и графу Твердоонто, и всяким комиссиям препон, создающимся для борьбы с революционным движением, и диктатуре сердца, и земским «сведущим лицам». Все веяния внутренней политики находили в них свое отражение, всегда остроумное и едкое и всегда согласное с той оценкой, которую давали им и революционеры.

Молодежь ценила и любила Щедрина как несравненного социально-политического сатирика. Как бы ни увлекалась она Д. И. Писаревым, она никогда не сетовала вместе с ним, что Щедрин вместо своих сатирических писаний не занялся популяризацией естественных и социальных наук. Молодежь не искала у Щедрина выяснения теоретических вопросов, ее волновавших. Она приветствовала в нем сильного литературного бойца, боровшегося за общие с ней идеалы тем оружием, которое дал ему его мощный сатирический талант.

Молодежь, еще не вполне выработавшая свои социально-политические взгляды, получала от Щедрина могучие революционизирующие толчки; он разоблачал перед ней гнусность всяких чиновничьих карьер, к которым готовила школа, направленных в конце концов к поддержанию и укреплению самодержавного произвола и грабежа народа Колупасевыми и Разуваевыми, он вскрывал лицемерие, пошлость и пустоту так называемых либеральных профессий (адвокатура, банки, бульварная пресса), земского и городского самоуправления,—словом, всего того, чем утешалось либеральное пустозвонство, восхищавшееся «великими реформами» и нашим «прогрессом». Под всей этой либеральной мишурой Щедрин вскрывал хищничество нарождающейся буржуазии, захватывавшей и земельное дворянство, подчинявшей и подкупавшей и нашу интеллигенцию. Всей силой своего сарказма Щедрин клеймил карьеризм, неизбежно строивший личное благополучие на грабеже народа, преследовал насмешкой все «умеренное и аккуратное» и звал к общественному подвигу на борьбу со злом, так ярко им изображенным.

А. В. Якимов, М. И. Дрей, И. И. Попов,
Н. И. Ракитников и Е. И. Яковенко

А. Л. БЕРМАН

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин — несомненно один из талантливейших и переловых русских писателей. Его сатира, острая, едкая, вскрывавшая пошлость и ничтожество всяких «ташкентцев» и «удавов», самодурство всяких градоправителей, его сатира, пропитанная оппозиционным настроением и борьбой против реакции, была важным и существенным фактором в общественной жизни страны. Велика заслуга Салтыкова-Щедрина, велико его значение.

При всем том я не могу указать ни одного из читанных мною в молодые годы произведений Щедрина, которое бы произвело на меня такое впечатление, которое бывало бы во мне такие чувства и мысли, как например «Подлиповцы» Решетникова. Тут очевидно дело не в талантливости авторов, а в чем-то другом. Если я сопоставляю произведения Щедрина, в отношении влияния на меня, с произведениями и не беллетристического характера, с работами П. А. Лаврова, Н. Г. Чернышевского, Н. К. Михайловского, то опять-таки я должен сказать, что и «Письма к тетеньке», и другие произведения Щедрина для моего духовного мира, который тогда складывался, не имели того значения, как например «Исторические письма» Лаврова.

С интересом и увлечением читал я Щедрина. Его отклики на разнообразнейшие злобы дня, яркие образы представителей разных слоев общества с их карьеризмом, тупостью, хищническими инстинктами были великолепной иллюстрацией к тем мыслям и чувствам, какие я получал, какие я выносил из других источников. Лично я не в произведениях Щедрина находил ответы на все то, что больше всего в то время меня занимало и волновало и что определяло мой жизненный путь.

В эпоху глухой реакции, в эпоху безгласности, молчания общественных групп, в тоске по моральной поддержке Щедрин спрашивал «Где ты, читатель?» и просил: «Откликнись». Плохо отзывался читатель в свое время, и только через 45 лет после смерти Щедрина стали слышаться отклики читателей.

Н. Я. БЫХОВСКИЙ

Из русских писателей-художников слова наиболее революционизирующее влияние на меня имели Глеб Успенский и Салтыков-Щедрин. Успенский будил совесть, не давая ей спокойно примириться с окружающей гнусной действительностью, с царящим диким произволом, с темной трудовыми масс, всячески охраняемых от проблесков света угнетателями и эксплуататорами этих масс, с свинской жизнью самодовольной обывательщины, не желающей видеть ничего кроме своего корыта и не знающей никаких других принципов кроме «моя хата с краю...» Салтыков-Щедрин не только сарказмом своей хлеставшей сатиры, но и своими художественными произведениями вызывал презрение, злобу, гнев и ненависть ко всем устоям этого омерзительного порядка вещей. А из этого вырастала непреодолимая потребность беспощадной, самоотверженной, непримиримой борьбы против этого ненавистного порядка, против всех гнилых устоев его до полного их уничтожения.

Со многими произведениями Салтыкова-Щедрина я познакомился еще в ранней юности. Впоследствии, в зрелом возрасте, я много раз перечитывал их с неослабевающим интересом.

Наиболее революционизирующее влияние на меня имели те сатиры Щедрина, которые были направлены против существовавшего самодержавно-полицейско-бюрократического государства. Ведь не было ни одного уголка этого прогнившего политического строя, где под яркими лучами щедринской сатиры не обнаруживались бы миазмы гниения и мерзость запустения. Хотя писателю приходилось, развивая эти темы, прибегать к наибольшей маскировке, к максимальной изощренности в использовании эзоповского языка, но и мы, читатели, ведь тоже изощрялись в стремлении понять истинные и сокровенные мысли сатирика. Кроме того самые персонажи «володевших и правивших нами» были настолько типично изображены Щедриным, настолько глубоко верно

психологически была постигнута им вся внутренняя сущность их мировоззрения и их система политического порядка, что для нас это ведь были реальные личности живой осточертелой повседневной действительности. Любая губерния, любой уезд имели своего Угрюм-Бурчеева, Твердоонто или своего Бородавкина, не только считавших излишними какие-либо уставы, стесняющие градоначальников законами, но и проводивших это на практике. Для нас эти имена были синонимы, ходячие понятия. И мы всеми фибрами нашего существа ненавидели этот политический строй, державшийся на тирании, на удушении свободной мысли тупой и грубой силой, устанавливавшей «благонамеренное единомыслие» в стране, беспрекословное повиновение и послушание начальству.

Кроме легального Щедрина был еще нелегальный Щедрин, — были те произведения его, которые не были пропущены цензурой и ходили по рукам как нелегалщина. Моя юность прошла в провинции. Помню, что у нас по рукам ходили размноженные гектографом большие купюры, сделанные цензурой из разных произведений Щедрина. Запрещенную же цензурой сказку «Вяленая вобла» («Мала рыбка, а лучше большого таракана») я еще в юности сам размножал на гектографе. Мы зачитывались этой глубоко меткой сатирической сказкой, в которой рассказывалось, как вобла стала благоразумной и благонамеренной после того, как ей высушили и выветрили мозг, как легко и выгодно стало ей жить без мыслей, с одним только житейским правилом: «Уши выше лба не растут». Неоднократно в нашем радикальном юношеском кружке учащихся средней школы мы читали и перечитывали эту сказку. Сентенции и афоризмы этой воблы с выветренными мозгами стали для нас поговорками и запомнились на всю жизнь. Сказка Щедрина «Орел-меденат» в свое время тоже была нелегальной и была очень популярна среди нас, учащейся радикальной молодежи. Ходила по рукам как нелегалщина и фотография, изображавшая Салтыкова-Щедрина, окруженного змеями с высунутыми жалами. Среди этих гадов были кажется и жандармы, и цензура, и реакционные удавы из «Московских Ведомостей» и «Нового Времени», и разные другие носители и служители гнета и мракобесия. Фотографию эту кто-то из наших юных фотографов-любителей переснял, и она продавалась за деньги, которые шли потом на революционные цели. В более позднее время, чуть ли не до первой революции 1905 г., эта фотография продолжала распространяться как нелегалщина рядом с фотографиями, изображавшей социальную пирамиду буржуазно-капиталистического строя, с фотографиями народолюбцев-шлиссельбуржцев и др.

Легальный Щедрин также заменял нередко нелегалщину, особенно если последней было недостаточно. А нелегалщина всегда ведь была дефицитной продукцией, особенно до конца 900-х годов, когда революционное движение стало уже широко массовым. При занятиях с рабочим кружком в Кишиневе мне лично приходилось пользоваться легальными сказками Щедрина. Ядро этого кружка составляли рабочие металлисты Гаманюков, Светковский и Вассер, впоследствии ставшие активными революционерами. Читали мы сказки «Премудрый пискарь», «Карась-идеалист», «Бедный волк», «Повесть о том, как мужик двух генералов пролормил», «Коняга» и другие. Помню, что наибольшее впечатление произвела сказка «Карась-идеалист». Они были в восторге от этой сказки и сами потом не раз перечитывали ее вместе и в одиночку. Тут настолько ясен был истинный смысл этой сказки, что даже не требовались мои комментарии. Особенно приводила их в восторг меткостью и образностью сцена разговора карася с щукой в присутствии головя, охранителя порядка, дающего возможность щукам лакомиться карасями. Стараясь убедить щуку в несправедливости разбоя и насилия, карась говорит, что он верит в торжество справедливости: «Сильные не будут теснить слабых, богатые — бедных... Всякий для всех и все для всякого, — вот как будет. Когда мы друг за дружку стоять будем, тогда и подкузьмить нас никто не сможет... Все друг от дружки, от общих взаимных трудов»... Обращаясь к головя, щука спрашивает: «Как по-настоящему такие речи называются» и получает быстрый и лаконичный ответ: «социализм, ваше степенство»... На это щука угрожающе изрекает: «Так я и знала. Давненько я уж слышу: бунтовские, мол, речи карась говорит». Эту сцену рабочие нашего кружка чуть не наи-

зусть знали. Ведь надо принять во внимание, что это была эпоха гнетущей реакции, когда в легальной литературе о социализме заикаться нельзя было. А в этой легальной сказке с поразительной образностью и меткостью фактически ставились все точки над «и». Вообще этой сказкой приходилось очень часто пользоваться пропагандистам того времени. Большим успехом при пропаганде пользовалась также сказка «Коняга», непревзойденная по глубине сострадания к вечному труженику земли, на долю которого достаются только муки и страдания, и столь же глубокого презрения к Пустоплясу-барину, не знающему никакого труда и живущему припеваючи. Другие легальные сказки Щедрина тоже сослужили немалую службу для пропаганды революционных идей, не говоря уж о нелегальных сказках, как «Вяленая вобла» и «Орел-меценат», о чем упоминалось уже выше.

Перечитывать Щедрина мне приходилось обычно во время тюремного досуга. При одном из моих тюремных сидений под следствием в провинциальной тюрьме в 90-х годах невежественные и тупые жандармы всячески ограничивали выбор книг, доставлявшихся мне в тюрьму, судя об этих книгах только по заглавиям. Как только заглавие казалось им подозрительным по части благонамеренности, книга не пропусклась ими. Приходилось даже воевать за пропуск в тюрьму «политической экономии», так как заглавие это пугало невежественного жандармского полковника, не знавшего очевидно, что наука эта преподается в наших университетах. Наложив запрещение на «Политическую экономию», он благосклонно разрешил «Благонамеренные речи» и «Сказки» Щедрина. Я и товарищи мои, сидевшие тогда в этой же тюрьме, много смеялись по этому поводу. Провинциальным жандармам было невдомек, что подлинная крамола была именно в этих «Благонамеренных речах» и «Сказках» Щедрина, а также в других его книгах, а не в скромном учебнике политической экономии.

Были у Щедрина читатели и почитатели и в том лагере, который был наиболее ненавистен ему, что не мешало им впрочем оставаться в этом лагере. Как курьез, характерный в известной степени для тех теперь уже далеких времен, можно привести следующий факт.

Во время моей первой ссылки в Сибирь я был поселен в Тунке Иркутского округа и находился здесь под наблюдением «недреманного ока» — местного полицейского пристава Сементовского. Недоучившийся гимназист или семинарист из мелкочиновничьей семьи, он оказался страстным поклонником Щедрина и великолепно знал все произведения его. Он цитировал наизусть целые страницы и знал чуть ли не все крылатые слова и афоризмы Щедрина и его персонажей. В разговорах со мной и с другими политическими ссыльными он либеральничал, награждал начальство свое и весь существовавший политический порядок щедринскими эпитетами, награждал этими эпитетами и афоризмами и свои собственные полицейские функции. Это не мешало ему однако весьма исправно выполнять эти функции. Когда я однажды отлучился «самовольно» на короткое время в Иркутск, он «по долгу службы» счел нужным сообщить об этом высшему начальству, за что я получил тогда несколько дней ареста. В разговоре со мной по этому поводу он, как бы извиняясь, сказал: «Что ж, ничего не поделаешь, мы все под недреманным оком. Вы под моим недреманным оком, а надо мною тоже есть недреманное око, да и сам царь тоже под чьим-нибудь недреманным оком. Мне конечно тоже неприятно было доносить о вашей отлучке. Но, знаете, в нашем положении «ежели лишние мысли и чувства без нужды осложняют жизнь, то лишняя совесть и тем паче не ко двору», закончил он афоризмом вяленой воблы.

В. И. ДМИТРИЕВА

Имел ли Щедрин революционизирующее на меня влияние?

Да. Несомненно имел.

И вот как это было.

Вспоминается мне темный, запутинный чердак в дедушкином доме. А на чердаке среди разного старого хлама — узкий, длинный ящик, битком набитый какими-то толстыми книгами в тяжелых, кожаных переплетах, с разорванными и растрепанными старыми журналами и другими бумагами. Откуда все это взялось у дедушки — неизвестно, но мы с братом в поисках чтения скоро добрались до ящика и, когда нам удавалось ускользнуть от надзора, с наслаждением рылись в бумажной рухляди.

Мне в это время было 13 лет, но я уже вела дневник, читала все, что попадалось под руку, воображала себя Нечочкой Незвановой и таила в душе глухой протест против темной и жуткой деревенской жизни, какую вели мы все.

Неужели так будет всегда? И наши дяди Федоры, тетки Катерины, двоюродные братья и сестры, Сони, Политки, Орси, все, все мы — навеки обречены жить в своих темных, закопченных хатах, летом от зари до зари мучиться на полях и гумнах, а зимой гулять на свадьбах, пить водку и драться на кулаках. И нет никакого выхода. И никуда не уйдешь дальше кладбища за селом, где улеглось уже многое-множество завьяловцев, где придется лежать и нам.

Отчего это так? Кто виноват в том, что мы живем, как мыши в мышеловке? И разве нельзя уйти от завьяловщины и как-нибудь по-иному устроить свою жизнь?

Такие вопросы все чаще и чаще волновали меня. Ответа на них не было, нападала гнетущая тоска, даже лес, широкий, многоводный Хопер, деревенские игры и забавы не могли ее рассеять. Только книги, одни книги уносили мысль в другой, просторный и светлый мир, отвлекали от сереньких будничных переживаний, давали новые, волнующие и яркие впечатления. Но и книг было мало, да дедушка и не любил, чтобы мы много торчали над книгой, и поваркивал на нашу мать, что она избаловала нас, не приучает к полезному делу.

Одно прибежище был чердак: забьешься в самый темный угол, никто не видит, никто не мешает читать, писать и думать. Толстые кожаные книги оказались «Историей Петра I» — не помню какого автора, но меня они не интересовали. Но вот однажды с самого дня ящика я извлекала целую кучу разрозненных, пожелтевших книжек «Современника», разных брошюр и отдельных изданий. Мое внимание привлекла небольшая книжка, по углам обеденная мышами, — «Губернские очерки» Н. Щедрина. Отряхнула ее, стала читать. Сначала показалось скучновато... но чем дальше, тем больше я втягивалась в жизнь города Крутогорска, и наконец передо мною развернулась такая потрясающая картина нашего общего русского бытия, что уже не смутная тоска, а ужас и злость переполнили мою душу. Сразу как-то определилось, оформилось и приобрело реальную установку всегда жившее во мне чувство глухого протеста, вспомнились слышанные в детстве страшные рассказы о крепостном праве, сам собою явился прямой и жесткий вывод:

«Вся Россия такая. Везде гадость, мерзость, насилие, несправедливость. Наверху кишат Порфирии Владимировичи, Хрептюгины, Налетовы, хищники, взяточники, убийцы, подлые, жадные, наглые... А внизу — забитая, несчастная крестьянская масса, которую приравнивают к стаду, грабят, бьют, презирают, лишают всяких человеческих прав». Я уже читала раньше и «Записки охотника», и «Мертвые души», но нигде, ни у Тургенева, ни у Гоголя, русская действительность, русская правда жизни не была так ослепительно ярко освещена, как у Щедрина. Мало сказать — ярко; нет, — грубо-обнаженно, злыми, вьедчивыми, неизгладимыми мазками изображены все язвы, все гноиники, которыми тяжело больна наша бедная страна. В «Записках охотника» крепостнические сцены и типы как бы подернуты мягкой поэтической дымкой, сквозь которую еле-еле можно уловить грубые контуры отвратительных проявлений власти человека над человеком; там даже порка изображена в тонко юмористических и беззлобных звуках, доносящихся до помещичьего балкона из конюшни: «чики-чики-чик, чики-чики-чик». У Гоголя и того нет: сцена загромождена гориллами, удавами, гизнами, и из-за их рыканья не слышно стонов и воплей пожираемых ими жертв. А у Щедрина...

Смелой рукой он сдирает все поэтические дымки и покровы с окровавленного, кнутом иссеченного лица России и воочию показывает всем, на чем держится законный и незыблемый порядок государства русского.

Порка, розга, кулак, шпидрутены, узаконенный грабеж, наглое самоуправство, бесшабашный произвол—все испытанные орудия самодержавного строя безотрадно вскрыты. были на страницах этой драной, изъеденной мышами книжечки, этого взрывчатого снаряда, скрывшегося под скромным заглавием «Губернские очерки».

Кое-что врезалось в память и ярко до сих пор.

«У мужика на то и зад создан, чтобы его драть».

«Все законы так оформованы, что у каждого есть природное желание руками в морду тыкать».

«Надо было одного высечь, а высекли другого—просто именно потому, что он не протестовал».

А взяточничество! Не только Хрептюгины и Добровы, приказные и торгаши, но и так называемые «интеллигенты» норовили обобрать мужика при случае. Вот например доктор, который заставляет мужика снимать сапоги, «зная, что они у него все равно, что ломбард». Или вот еще такое наглядное надувательство: «Привезет тебе, бывало, мужичек овса кулей с десяток или рогожи сот пять, ну и свалит, а за деньгами, мол, приходи через неделю. Придет, а ему: «знать ничего не знаю, ведаť не ведаю, и не видал тебя никогда...» Уйдет, бедняга, и управы никакой нигде не найдет...»

Так кулаки обжуливали мужиков, а вот как само начальство поступало с кулаками, об этом рассказывает коммерсант по лесной части. «Надо провести плоты, требуется разрешение. А чтобы его получить, давай угощенье. А не подашь—за бороду тебя норовит ухватить. А онамеднись—пили, пили шимпанское, кажись ничего не жалел, чтобы глотку его поганую залить, так ему мало этого... Вздумал: давай теперича реку шимпанским поить. Я было ему в ноги: помилосердствуй! И слушать не хочет! «Шимпанского! Дюжину! Мало дюжины, цельный ящик давай, а не те твои плоты сейчас законфескую, и пойдешь ты в Сибирь гусей пасти»... И дал...»

Прочла я эту драную, заброшенную книжечку и спустилась с чердака с другими чувствами, с другими мыслями. Ведь других учителей у меня не было, никто не говорил, отчего так скудна и страшна наша жизнь, а тут воочью показано, кто наши враги, отчего мы так бедны, забиты и унижены, с кем надо бороться, кого истреблять...

Уже в гимназии потом я прочла «Историю одного города», читала «Вперед» и другие нелегальные издания, которые углубили и оформили мое революционное настроение; но никогда не могла забыть того ошеломляющего, я бы сказала огненного впечатления, которое произвели на меня «Губернские очерки» неведомого для меня тогда Н. Щедрина. Впоследствии я узнала, что под этим скромным именем скрывался тверской помещик, бывший вице-губернатор и губернатор, действительный статский советник М. Е. Салтыков, знаменитый писатель и руководитель знаменитых «Отечественных Записок», острого пера и злой сатиры которого боялись даже царские сановники и министры. Но это обстоятельство несколько не умалило в моих глазах его значения; пусть он был не революционер, а либеральный интеллигент; для меня все-таки он навсегда остался Н. Щедриным, автором «Губернских очерков», в своей горькой и жгучей сатире показавшим всему миру отчаяние и зло русской жизни. Этого из истории общественного движения в России вычеркнуть нельзя.

П. М. ИВАНОВ

Я тоже принадлежу к тем, которые издавали нелегально и распространяли «Сказки» Щедрина. Должен отметить, что Щедрин оказывал революционизирующее влияние на окружающую молодежь в том смысле, что мы понимали Щедрина как нашего легального помощника, как старшего товарища; мы вели с помощью произведений Щедрина антиправительственную пропаганду.

Оносительно выступления В. Н. Фигнер по поводу Щедрина и ее сравнения народолюбческого периода эпохи Первого Исполнительного комитета с более поздним народолюбческим я могу сказать, что конечно той нравственной высоты, той ясности и четкости в постановке революционного дела, которыми обладал Исполнительный коми-

тет партии «Народной воли», мы, народовольцы последующего периода, не имели и не могли иметь, потому что мы искали лозунга, под которым можно было бы объединить разрозненные революционные силы. Мы считали, что борьба при помощи террора есть вопрос тактики, но для осуществления такой тактики мы не обладали той беззаветной жертвенностью, которой обладал Исполнительный комитет партии «Народной воли» и для выработки которой для истории нужно было время, чтобы опять могли развиться такие революционные силы.

Е. Н. КОВАЛЬСКАЯ

Мне приходилось пользоваться Щедриным с большим успехом, читая в кружках, организованных мною среди юной учащейся молодежи и среди рабочих. Бичующая острая сатира пробуждала критическое отношение к существующему строю, к быту правящих привилегированных классов, подрывала традиционную непогрешимость царя, власти вообще («История одного города», «Помпадуры»), дискредитировала либерализм (сказка «Либерал»), толкала на действенный революционный путь. Когда приходилось читать одновременно Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов вызывал подавленное настроение, Щедрин — боевое, протестующее.

А. П. КОРБА

Если мысленно вернуться к старым временам конца царствования дома Романовых, то невольно вспоминается фигура Салтыкова-Щедрина и проявления его буйного литературного таланта. Михаил Евграфович хорошо изучил склонности и свойства русского народа, безошибочно оценивал его гений. Отсюда ненависть Михаила Евграфовича к угнетателям и эксплуататорам народных сил и способностей, к лицам, ставившим искусственные преграды проявлению положительных качеств населения в монархической России.

В одном из моих маленьких очерков я описала свое посещение конторы «Отечественных Записок» для свидания с Кривенкой и Михайловским. Это было в то утро, когда жители Санкт-Петербурга впервые узнавали из утренних газет, что бывший министр народного просвещения Толстой назначен министром внутренних дел.

Мы еще не знали этой новости, и все трое мы были очень удивлены шумному появлению Михаила Евграфовича. Он шел по маленькому коридору, соединявшему частную его квартиру с конторою редакции, шумными и тяжелыми шагами и рычал, как раненый лев. Мы все трое обратили взоры на входную дверь, из коридора. Михаил Евграфович появился в ней, держа в руке номер «Правительственного Вестника», и первые его слова были: «Читали, читали?» и на отрицательный ответ моих собеседников он прочел высочайшее повеление, грузно опустившись в кресло. От ярости он был вне себя. «Как,—кричат он,—этого тюремщика, который своим дурацким классицизмом отправил десятки юношей на тот свет, а теперь всю Россию закует в кандалы бесправия и повиновения!» И после краткого молчания и еще громче он кричал: «Ошибутся! Слишком рискованная игра не ведет к выигрышу! Как бы им не проигратся!»

Салтыков тогда уже был убежден в том, что революционный взрыв неизбежен в России. Слишком безумно было правительственное самоуправство и слишком тяжел гнет, который испытывали на себе трудящиеся массы и трудовая интеллигенция.

Он верил в будущую и при том близкую революцию, и даже великосветские дамы, которых он изображал в «Письмах к тетеньке», восклицали в смущении, хотя по-французски: «Мы танцуем на вулкане».

Эта уверенность Михаила Евграфовича действовала неотразимо на его читателей и приобретала ему друзей и почитателей во всех слоях населения.

А. И. КОРНИЛОВА-МОРОЗ

Я начала с увлечением читать Щедрина с 18-летнего возраста, когда в 1872—1873 гг. в «Отечественных Записках» помещались его очень интересные «Благонамеренные речи». Мы получали книжки «Отечественных Записок» и бросались на статьи Щедрина и Михайловского,—это были самые излюбленные писатели у нас. Между прочим была тогда одна глава из этих «Благонамеренных речей» Щедрина под названием «Переписка». Это—переписка молодого прокурора с маменькой. В письме прокурор говорил о том, как он счастлив в своей деятельности. Его призвал генерал и поручил ему вести дело арестованных 15 человек. Он в патристическом и служебном восторге берется за это дело, которое у него разрастается: с 15 человек обвиняемых у него вырастает число это до 85. В одном из своих писем маменьке он пишет, что это—люди очень хитрые: они заявляют, что занимаются созерцанием гармонии будущего. Дело все больше разрастается, но в конце концов генералу сно надоедает; ему становится скучно, прокурором он недоволен, и все это дело он прекращает. Эта статья Щедрина была помещена в ноябрьской книжке «Отечественных Записок» за 1873 г., а 5 января 1874 г. я была арестована. На одном из допросов я высказалась, что считаю неправильным предлагать мне вопросы о знакомствах, ибо, если люди, о которых меня спрашивают, занимаются только созерцанием гармонии будущего, то ведь это не есть преступление. Жандарм тогда не понял этого намека, но на следующем допросе он заявил: «Что же вы «о перенесении бедствий настоящего» умолчали?» И вот после этого меня переводят в Коломенскую часть и лишают свиданий. Очевидно жандармы догадались относительно смысла моей фразы на предыдущем допросе и это им очень не понравилось. Когда я была освобождена, мы с сестрой занимались доставкой книг заключенным по большому процессу. Самое большое требование было на журнал «Отечественные Записки». У нас уже было три экземпляра его, которые ходили по тюрьме, но этого было недостаточно. Нам нужен был еще один экземпляр. Мне сказали, что я должна обратиться к Щедрину, что он выразил желание, чтобы к нему пришел кто-нибудь из лиц, которые соприкасались с тюрьмой. Я явилась в редакцию «Отечественных Записок». Кто-то из членов редакции сказал мне: «Вон там в углу стоит стол, за ним сидит Щедрин». Я робко излагаю ему свою просьбу. Он глядит на меня исподлобья и говорит: «Ну, хорошо, только без доставки». Я ему ответила, что мы и так получаем три экземпляра тоже без доставки. Очень сильное впечатление произвело в политической ссылке закрытие этого журнала. Мы были тогда в ссылке в Томске и нас это закрытие всех очень огорчило, так как мы придавали большое значение этому журналу.

П. К. ПЕШЕКЕРОВ

Для нас, молодых революционеров конца 70-х и начала 80-х годов, Щедрин был одним из тех писателей, которые оказали громадное влияние на наше развитие вообще и формирование нашего политического мировоззрения в частности.

Его глубокая сатира вскрывала и бичевала рыцарей насилия, бесправия и произвола того самодержавно-крепостнического строя, с которым мы вели беспощадную борьбу. Ни одно мало-мальски серьезное явление тогдашней действительности не могло укрыться от метких стрел сатирика, и сатира Щедрина была по содержанию так же разнообразна, как разнообразна была сама жизнь...

Редактируемый им журнал «Отечественные Записки» был лучшим из журналов радикального направления того времени, и я живо помню, с каким нетерпением мы, молодежь, ожидали всякий раз выхода очередной книжки журнала и с каким трепетным волнением набрасывались на чтение статей любимых авторов и в особенности сатирических очерков Щедрина, появлявшихся неизменно из месяца в месяц в каждой книжке журнала.

Правда, при чтении его очерков мы не ощущали того боевого подъема духа, который вызывало у нас чтение подпольных изданий «Земли и воли», «Народной воли» и дру-

гих революционных изданий агитационного характера того времени. Но его бичующие современные порядки сатирические очерки, поддерживая в нас чувство негодования и ненависти к этим порядкам, вместе с тем вызывали у нас чувство удовлетворения от сознания того, что мы в своей борьбе с этими порядками и порождающим их строем стоим на верном пути, что мы не одиноки как борцы, что за нами стоит масса недовольных и что даже такие трезвые и умудренные опытом авторитетные писатели, как Щедрин, являются, говоря современным языком, нашими «попутчиками»...

Трудно сказать теперь, какое из произведений Щедрина оказало на нас, молодежь того времени, наибольшее влияние. В идеологическом отношении все они — и «Господа ташкентцы», и «Благонамеренные речи», и «Пошехонские рассказы» и «Письма к тетеньке», и «Современная идиллия» и т. д. вплоть до последних его произведений — 23-х сказок и «Забывших слов» — были в этом отношении равноценны для нас, и, как я сказал уже, оказали громадное влияние на выработку нашего политического мировоззрения. Что же касается непосредственно художественного впечатления, производимого его произведениями, то для примера приведу следующий эпизод.

В начале 80-х годов, по случаю путешествия Александра III на юг, все находящиеся под гласным и негласным надзором полиции неблагонадежные лица были подвергнуты аресту при полицейском управлении г. Ростова на Дону. Нас было человек 50 рабочих, служащих, студентов и проч. Хотя не все мы друг друга знали лично, но в первые же часы пребывания вместе успели установить общность наших истинных чувств к существующему строю. Но вот приводят к нам несколько позднее еще нового арестованного, один внешний вид которого вызывает у нас уже сомнение в том, что он является нашим идейным товарищем, а после расспросов не остается уже никакого сомнения, что мы имеем дело со «шпиком», подсаженным к нам полицией для добычи сведений о нас. Мы решили его «выжить» из нашей компании. По уговору с несколькими товарищами я предложил устроить совместное чтение и вызвался прочесть из имеющейся у меня книжки «Сказок» Щедрина художественно написанную и производящую при чтении сильное впечатление сказку «Ночь под светлое воскресенье», где сатирик бичует и клеймит Иуду-предателя. При чтении некоторые из товарищей в упор смотрели на подозреваемого «шпики». Последний, не дождавшись окончания чтения, вызвал стуком в дверь надзирателя, попросился в контору и больше не возвращался в камеру... настолько сильно было впечатление от чтения этой захватывающей сказки. Как известно, Щедрин в этой сказке проводит ту мысль, что единственное преступление, для которого нет и не может быть никакого оправдания, — это предательство...

Прошло уже 45 лет со дня смерти гениального сатирика и редактора «Отечественных Записок», а у меня еще и до сих пор перед глазами, как живой, встает образ Щедрина, как он изображен на распространенной в те времена нелегальной фотографической карточке, где художник нарисовал Щедрина, облаченного в халат, с книжкой «Отечественных Записок», крепко прижатой к груди, ощупью пробирающегося темной ночью в густом дремучем лесу. Сатирик хотя и медленно, но уверенно шагает по тропинке, заваленной буреломом, к едва мерцающему вдали просвету, а на его пути, всюду, между ветвями деревьев виднеются уши, глаза и опять уши... Под фотографией напечатаны были стихи, начинающиеся словами: «Еще полночь. Но близок час рассвета»... (Дальше не помню.) Комментарии излишни.

М. М. ПОЛЯКОВ

Мне, деревенскому жителю, не получившему систематического школьного образования в учебном возрасте, Щедрин помог шире и глубже понять и обобщить явления окружающей меня действительности. Большое торговое село в современном Донбассе, районный центр торговли зерном, шерстью и кожей для экспорта и зачинающейся угольной промышленности... По воскресным и праздничным дням в волостном правлении обязательная порка крестьян за разные провинности, выколачивание недоимок и продажа крестьянского имущества за недоимки же и кабальные долги... На базарах и

в лавках вакханалия всевозможного надувательства и грабежа крестьян... Тут же урядник: голос у него зычный, кулаки огромные, и малейший протест «обдуренного» немедленно заглушается урядничьими угрозами, а часто и мордобоем. А в сумерки отдыхающие от трудов праведных хлебники, маклаки, шибай, лавочники, захлебываясь от восторга, хвастают друг перед другом—кто удачней обвесил, обмерил, подсыпал сору в пробу и т. д. Невдалеке—экономические конторы помещиков Милорадовича и Лисаневича; там по праздничным дням слышишь мольбы «мужиков» и вопли баб по случаю грабительских штрафов за потравы (часто провокационные) полей и лугов или лишения арендованных клочков земли, без которых крестьянин-бедняк обречен на полную нищету. Это—первая стадия освоения российской действительности и зарождения зачаточных понятий, мыслей и чувств, создающих революционное настроение. Вторая—книги. Но библиотеки нет. Есть случайные книги: большей частью плохие романы и повести. Неожиданно открывается для меня книжное Эльдorado. У алкоголика отставного полковника на чердаке много книг на разных языках: много и на русском. Здесь разрозненные томы великих писателей 40-х, 50-х и позднейших годов, а также разрозненные комплекты журналов «Русский Вестник», «Отечественные Записки», «Современник», «Дело» и др. В «Отечественных Записках» и отдельно—ряд произведений Щедрина. Если из мира командного класса я, деревенский юноша, знал насильников, взяточников малого калибра, включая пристава и исправника, регулярно два раз в год приезжавшего за данью от всей этой своры, да еще знал красавца благочинного, о котором рассказывали, что он на исповеди под епитрахилью сговаривался с некоторыми исповедницами о свиданиях, то Щедрин своими произведениями значительно расширил мой горизонт и углубил мои познания в том же направлении. Правда, многое из прочитанного было для меня в ту пору не вполне ясно, но сущность была понята и хорошо усвоена: правящий класс и порядки, им защищаемые,—вопиюще несправедливы. Конечно не один Щедрин был для меня в раннюю пору моего умственного развития великим учителем, а вся совокупность хороших книг и журнальных статей из хранилища полковничьего чердака. Но Щедрин и тогда запечатлевался неизгладимыми, яркими следами в мозгу. И если Некрасов своими поэмами и некоторыми небольшими стихотворениями наполнял сердце гражданской скорбью, зажигал пламя ненависти ко всему существующему строю и стимулировал готовность к участию в революционной борьбе (не в меньшей мере, чем подпольная литература, изредка попадавшая к нам), то Щедрин своим сарказмом и иронией, глубоко обнажая язвы города (мне—деревенщику), давал моему уму и сознанию богатейший материал для размышления над причинами, порождающими нищету, гнет и насилие в деревне. Впоследствии, с накоплением систематических знаний, мне не раз приходилось читать и перечитывать произведения Щедрина, и я у него неизменно черпал не только художественные эмоции, как у других классиков, но и выносил после чтения более четкое, более полное познание основных источников всероссийского гноя—самодержавия.

И. И. ПОПОВ

Припоминая далекое прошлое, то время, когда складывались мои революционные убеждения, я должен признать, что чтение произведений Н. Щедрина имело для меня исключительное значение. Я не скажу, что я благодаря Щедрина оформил свои социалистические идеалы. Конечно нет. Но он способствовал революционизированию моего мирозерцания. Н. Щедрин дискредитировал самодержавие и весь тогдашний режим и его аппарат с низов до самой вершины. В этом отношении он занимал исключительное положение в тогдашней литературе. Оформление же социалистического мировоззрения слагалось у меня под влиянием Н. Г. Чернышевского, Ф. Лассаля, К. Маркса, П. А. Миртова-Лаврова, Н. К. Михайловского и др. и конечно «Отечественных Записок».

Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что ни один журнал ни до, ни после не имел такого влияния на молодежь, какое имели «Отечественные Записки» на поколе-

ние 70-х и 80-х годов. Каждая книжка «Отечественных Записок» составляла событие в нашей жизни и возбуждала оживленные толки. Народническое, революционное направление 70-х и первой половины 80-х годов считало этот журнал до известной степени своим органом. Вокруг «Отечественных Записок» группировались лучшие литературные силы во главе с М. Е. Салтыковым, вначале в качестве соредактора, а после смерти Н. А. Некрасова — редактора журнала, Н. К. Михайловский, Г. И. Успенский, Н. Н. Златовратский, Г. Э. Елисеев с его знаменитыми «Внутренними обозрениями» и другие, не говоря уже о более молодых. Журнал дал не только высокохудожественные произведения, в которых показал картину безысходного гора народного, но и поставил ряд социальных проблем и вопросов. Под влиянием этих авторов складывалась так сказать положительная программа моих убеждений и создавался идеал будущего.

М. Е. Салтыков стоял особняком, как бы особняком, но он не терялся среди этих авторов и его произведения не затухали богатством содержания журнала. Я думаю, что громадное большинство читателей «Отечественных Записок» (а их было много и среди «наших» и «не наших», среди друзей и врагов) при получении книжки набрасывалось прежде всего на Щедрина. Его изумительный гений и желчный смех, «милые шуточки», от которых задеты зеленели от бешенства, злой сарказм вскрывали и обнажали российскую реакцию, насилие, пошлость, «благородство» в кавычках и тому подобные характерные черты правительства, администрации, печати и общества, но исключая либерального. После так называемой эпохи великих реформ Щедрина не пропускал ни одного значительного события, чтобы на него не откликнуться. Он дал целую галерею типов среди правительства и администрации от бутаря до высших правителей, среди адвокатуры, земцев, органов печати, писателей, буржуазии, крепостнического дворянства, Деруновых, Разуваевых, Колупаевых и мн. др. Никто не возбуждал столько суждений, разговоров, догадок, смеха и злобы, как великий сатирик своими творениями, в которых, несмотря на юмор, смех, шуточки, описывались подлинные трагедии. Его «Мелочи жизни» давали жуткую картину и вызывали слезы. Щедрина был не только сатириком, но и пророком: он предсказывал события, предугадывал задуманные реакционные мероприятия. Он описывал события не только с внешней стороны, но доказывал, что при наличии существующих условий они неизбежны и логически необходимы, потому что связаны с государственным строем и его порядками. Никто из писателей ежемесячно, в течение многих лет, не возбуждал в читателе столько ненависти к существующему режиму, бесправию, пошлости жизни, продажности, хищничеству и тому подобным явлениям русской жизни, как Салтыков.

Слушая споры студентов-братьев с их товарищами после прочтения Щедрина, я заинтересовался им и стал читать его с 1877 г., когда мне было 15—16 лет, и не прерывал чтения его до самой смерти писателя в 1889 г. Вначале в моей памяти запечатлелись Бородавкин («История одного города»), составивший «устав о нестеснении градоначальников законом», помещик Поскудников («Дневник провинциала»), предлагавший подвергнуть «расстрелянию всех несогласно мыслящих», и другие прожекты разных Удавов и Дыб, помпадуров и помпадурш, благонадежных и знающих обстоятельства местных землевладельцев; «гор. Ташкент есть страна, лежащая всюду, где бьют по зубам и где имеют право гражданственности («Предание о Макаре, телят не гонящем») Дерунов и Стелов, Разуваев и Колупаев и другие хищники, с небывалой смелостью предъявлявшие права на «столпов» отечества». Затем пошли люди торжествующей современности, консерваторы в образе либералов, литературные клоуны под девизом «мыслить не полагается». Все они ставили порабощение народа превыше всего, а средством для этого у них было оклеветание противников. Чем более усиливалась реакция, тем сильнее, злее становился сарказм сатирика. Сенсацию вызвала в очерках «За рубежом» «Торжествующая свинья». Она не только издевается над «Правдой», но и сыскивает ее своими средствами, с чавканьем гложет ее публично и не стесняется. В «Сказках» опять слышится душевная мука и дан ряд картин русского страдания, и таких картин, каких не много найдется даже в русской художественной литературе.

Но Салтыков не был пессимистом и не отчаивался от мути жизни, порожденной шкурным малодушием. Вдумайтесь в его пророчество в сказке «Пропала совесть». Когда вырастет малютка, в сердце которого совесть нашла приют, вырастет и совесть, и исчезнут тогда «все неправды, коварства, насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама». В «Письмах к тетеньке» Салтыков выражает уверенность, что русское общество «не поддастся наплыву низкопробного озлобления на все, выходящее за пределы хлевой атмосферы».

Отзываясь на самые злободневные темы, ставя прогнозы общественной и государственной жизни, Салтыков возбуждал особый интерес к своим произведениям, как никто другой из писателей. Получая книжку «Отечественных Записок», мы прежде всего набрасывались на Щедрина. Да вероятно не мы только, а и те, кто с особой ненавистью брал в руки журнал в светложелтой обложке — «не попал ли я к нему на зубок?» Около Щедрина велись споры, строились предположения не только о лицах, но и о том, что именно имел он в виду, описывая панацею, долженствующую якобы осчастливить людей, а на самом деле принесшую много зла.

Щедрин так сильно возбуждал интерес в обществе, что его произведения, не только непропущенные цензурой, но и напечатанные в журнале, перепечатывались в заграничной русской печати. В России же, в Петербурге, Москве и других городах, ненапечатанные его сказки гектографировались и иногда нелегально печатались. Как они попадали в руки революционера, я точно не могу сказать, хотя в гектографии А. В. Пихтина и С. И. Чекулева не раз сам гектографировал их. М. Е. Салтыков был крайне осторожен и вряд ли давал непропущенные цензурой статьи даже для прочтения. Редакция «Отечественных Записок» также не выпускала из редакции зачеркнутые цензурой статьи. Вероятно в типографии корректора, метранпажи, наборщики делали оттиски, которые и переписывались для прочтения. Есть у меня еще одно предположение. С. Н. Кривенко, состоявший в редакции «Отечественных Записок», вне всякого сомнения давал непропущенного Щедрина читать С. Е. Усовой, близкому ему человеку, в ссылке ставшей его женой, а та переписывала и давала нам и другим, кто имел гектограф, с тем, чтобы деньги за проданные экземпляры передавались в «О-во помощи политическим ссыльным и заключенным» («Синий Крест»), деятельным членом которого она была. Позторяю, это мое предположение. В связи с нелегальным изданием «Сказок» спрашивается, почему не привакали к ответственности самого М. Е. Салтыкова? Тогда говорили, что министр Д. А. Толстой не решался применять репрессий по отношению к своему школьному товарищу по Александровскому лицей. Правительство терпело Салтыкова и «Отечественные Записки» вероятно и потому, что не желало вызывать в обществе сенсации. Но в апреле 1884 г. «Отечественные Записки» закрыли. В это время я уже сидел арестованным в Доме предварительного заключения, где на свидании брат сообщил мне эту новость. Ни одна приостановка или закрытие других журналов не произвело на меня такого впечатления, как прекращение «Отечественных Записок». Такое же впечатление закрытие журнала вызвало в обществе. Недаром, вопреки обычаю, правительство дало пространное объяснение, почему оно вынуждено было прибегнуть к этой мере. Я, да и другие решали вопрос, где же теперь будет печататься М. Е. Салтыков? Да и возможно ли ему теперь печататься? Сомневались в этом не только мы, но и сам Щедрин: «Несколько месяцев тому назад я, — писал М. Е. Салтыков в «Пестрых письмах», — неожиданно лишился языка»; так же и «Крамольников» («Приключение с Крамольниковым»), однажды утром проснувшись, совершенно явственно ощутил, что его нет». Читатели Щедрина остро почувствовали, что Крамольникова не стало пока, и когда появились в «Вестнике Европы» новые вещи сатирика, мы радостно воскликнули: «А он жив!» Нужно было пережить эти несколько месяцев, когда Щедрин не печатался, чтобы почувствовать, как он стал нам необходим и как важно читать его, чтобы разбираться в тогдашней мрачной действительности. В Предварилке я стал перечитывать Щедрина, и первое, что мне попало, была книжка «Отечественных Записок» за 1881 г. и статья «Июльские веяния». Я помнил ее, и в свое время она произвела на меня сильное впечатление. В этой статье М. Е. Салтыков выступил с резким осуждением еврейских погромов. «История никогда не начерчивала на своих страницах вопроса

более тяжелого, более чуждого человечности, более мучительного, нежели вопрос еврейский». Салтыков, да и Н. К. Михайловский, кажется только они среди русских литераторов, дали правильное освещение погромам, при чем Н. Щедрин писал горячо и страстно и заставил многих задуматься над словами: «сколько симпатичного таит в себе замученное еврейство и какая неистовая трагедия тяготеет над его существованием»... «Нет более надрывающей сердце повести, как повесть этого бесконечного истязания человека человеком». М. Е. Салтыков был убежденным ненавистником всякого насилия и надругательства над человеком. Говоря о страданиях народа, он подымался до высокого пафоса и лиризма и давал истинно художественные картины, каких не много было и в народнической литературе. В этом отношении он ближе всех подходил к Н. А. Некрасову. Ставя звание литератора превыше всего, он требовал от печати честного, правдивого, без всяких стеснений служения народу. Печать и литература должны способствовать развитию правильного знания. «Знать, вот что нужно прежде всего, а знание неизменно приведет за собой и чувство человечности. В этом чувстве, как гармоническом целом, сливаются те качества, благодаря которым отношения между людьми являются прочными и доброкачественными. А именно справедливость, сознание братства и любовь». Слова и принципы, совершенно чуждые в эпоху «общества взволнованных лоботрясов», как Щедрин прозвал великосветских добровольцев-шпионов из «Священной Лиги».

Этим эскизно-беглым обзором Щедрина, какой я сделал, думаю вполне подтверждается мое утверждение, что чтение Щедрина имело на наше поколение революционизирующее влияние.

А. В. ПРИБЫЛЕВ

Еще в студенческие годы мы с особым удовольствием читали статьи Щедрина. Они привлекали к себе наше внимание не только освещением темных сторон русской жизни, но и бесчисленными намеками на несовершенство внутренней политики государства. Острота языка его сатир, разгадываемый нами его эзоповский язык часто возбуждали множество вопросов, создавали особое протестующее настроение, впоследствии переходящее в революционное. Пользуясь огромным уважением среди молодежи, Салтыков-Щедрин в то же время слыл человеком суровым, недоступным и чересчур насмешливым с людьми чуждого ему круга. В этом отчасти мне самому по личному опыту пришлось убедиться. Кажется в 1879 г., когда в нашем землячестве организовалась кружковая земляческая библиотечка, ее организатором, в том числе и мне, предстояло посетить кое-кого из издателей-литераторов, чтобы упросить их пожертвовать свои издания в пользу нашей бедной библиотеки. На мою долю выпала обязанность с этой целью побывать у Благосветлова и Щедрина. Первый снабдил меня экземпляром всех изданий журнала «Дело», а у Щедрина я имел в виду получить даровой экземпляр «Отечественных Записок». К последнему я шел с большим трепетом, зная его суровый характер и умение огоршить нежелательного посетителя. Тем не менее я набрался смелости и, к моему удивлению, совершенно легко и беспрепятственно проник в кабинет редактора. За столом сидела знакомая мне по портретам фигура серьезного, занятого писателя с характерным выражением больших выпуклых глаз, взглянувших на меня как будто не вполне доброжелательно. Когда я объяснил причину моего прихода и выразил просьбу пожертвовать один экземпляр журнала, он спросил: «Библиотека? Какая?» Я объяснил. «Вы думаете, мы обязаны давать журнал всем, кто его просит?» спросил он. «Не всем, а нашему студенческому кружку», отвечал я. «Нет вы напрасно ходите и кланяетесь, вы ничего не получите!» Огорченный и афранированный я поклонился и повернулся, чтобы уйти прочь, но Михаил Евграфович остановил меня и, бросив мне бумажку, коротко отрезал: «В контору». Дело было сделано, журнал я получил и скоро забыл весь неприветливый диалог со Щедриным.

В последующие годы, будучи уже на Каре, мы не пропускали ни одной статьи Щедрина, всегда их комментировали, обсуждали, восхищались его талантом и умением пользоваться эзоповским языком, смысл которого так гармонировал с нашими взглядами и мыслями.

Таким образом в ряду множества влияний, революционизирующих молодежь моего поколения, нельзя не приписать значительной доли русской прогрессивной литературе вообще и сказкам, статьям и сатирам Щедрина в частности.

Они будировали, волновали и возбуждали наши думы, побуждали мыслить в определенном направлении, от критики современного строя отводили к настроениям протеста, от них — к революционному сознанию.

П. В. РОВЕНСКИЙ

Салтыков-Щедрин обладал замечательным сатирическим талантом. Этот талант проявился с особенным блеском и силой в его «Сказках», в которых всегда трактуется гонение на правду. По цензурным условиям в «Сказках» всегда была аллегория и недоговоренность, но революционным чутьем мы улавливали их смысл. Щедрин в своей сатире никого не щадил. Полный ненависти к царскому деспотизму, он особенно едко, уничтожающе изображал царей и их администрацию. Благодаря своему таланту Щедрин умело и ярко легально проповедывал террор и поэтому его «Сказки» имели революционизирующее влияние. В кружках как интеллигентских, так и рабочих «Сказки» читались с чувством глубокого удовлетворения. Рядом со статьями Михайловского и Елисеева они будили лучшие чувства и мысли и заставляли задумываться над решением проклятых вопросов.

Н. М. ТЕРЕШЕНКОВ

Пишу по воспоминаниям о том, что мне передал брат мой С. М. Терешенков, бывший в делегации, посланной от московского студенчества в Петербург к Щедрину для выражения сожаления по поводу закрытия «Отечественных Записок», передачи адресов протестов по поводу этого и выражения глубокой симпатии и уважения Щедрину.

С. М. Терешенков, студент Высшего Технического Училища, состоял в то время членом Московской центральной группы «Народной воли» и имел крепкую связь с Общественным Союзом.

Я помню в руках С. М. Терешенкова накануне отъезда делегации в Петербург адреса студентов Технического Училища, Московского университета, студентов-петровцев и др.

Был ли в конце-концов составлен еще один общий компромиссный адрес, о котором говорит П. Анатольев в статье «К истории закрытия «Отечественных Записок» («Каторга и ссылка» № 58—59, 1929 г.), — я не помню. Помню, что в один из адресов я дал свою подпись.

История приема депутации студентов Щедриным, приведенная П. Анатольевым со слов А. Бурцева, рисует этот прием почти в том виде, как передавал мне и С. М. Терешенков.

Выступивший вперед и начавший речь депутат, насколько я помню из рассказа брата, и был сам С. М. Терешенков.

Щедрин совершенно неожиданно оборвал оратора и, между прочим, заявил, что история с депутацией и адресом может грозить ему, Щедрину, крайне тяжелыми последствиями.

В поведении и словах Щедрина брат видел и слышал скорее испуг и страх при виде депутации и подносимого ею адреса, чем злобу и негодование против депутации, о которых пишет А. Бурцев.

Я припоминаю, что депутат (С. М. Терешенков) стал высказывать Щедрина свое удивление по поводу обнаруженного Щедриным испуга.

Тогда выступил другой депутат и стал извиняться за причиненные Щедрину неприятность и неудовольствие приехавшей с адресом депутацией и пославшими ее студентами.

Щедрин как бы опомнился и повел с депутатией беседу о современном политическом и общественном состоянии России, о закрытии «Отечественных Записок» и пр.

Адрес однако уже не был прочитан.

Депутация передала адреса или адрес Михайловскому и Южакову; во всяком случае, насколько я помню со слова брата, временно один из адресов был вывешен в квартире Южакова или Михайловского.

Кроме двух названных литераторов, депутация побывала еще у некоторых сотрудников «Отечественных Записок» — Мишля, Салова и др.

Таков был сохранившийся в моей памяти рассказ С. М. Терешенкова об истории с адресом Щедрину.

В. Н. ФИГНЕР

Редакция журнала «Литературное Наследство» задала вопрос: как революционеры относились к Щедрину? как воспринимали его в революционных кружках и организациях и как, в частности, воспринимала его лично я? Что мы, революционеры, наиболее ценили в нем; чем помогал он в выработке нашего мировоззрения и в практической деятельности?

Этот вопрос явился для меня полной неожиданностью: во всей моей жизни он никем никогда не поднимался — до такой степени значение и возможное влияние Щедрина поглощалось общим значением передового журнала, в котором он был сотрудником и редактором.

В моем развитии и духовной жизни вообще Щедрин никакого влияния не имел. Относительно моих сверстников-товарищей по убеждениям и деятельности, мне кажется, я могу сказать то же самое. Для проверки личных воспоминаний я не поленилась пересмотреть хорошо мне известный том Энциклопедии Граната, заключающий 44 автобиографии революционных деятелей 1870—1880 гг. прошлого столетия.

В истории своего развития все, за немногими исключениями, отмечают определяющее влияние Лаврова-Миртова, Михайловского; называют и других писателей ходовой в ту эпоху литературы: Берви-Флеровского, Добролюбова, Писарева, Чернышевского, Бокля, но Щедрина не называют. Его имя упоминается мельком только в двух случаях (у Сухомлина и у Ястремского).

Я перечитала еще 40—50 анкет членов Группы народолюбцев при О-ве б. политкаторжан и сс. поселенцев. В них о Щедрине тоже никто не говорит: везде Миртов, Михайловский, Добролюбов.

По моим личным наблюдениям совершенно исключительное эмоциональное влияние имела поэзия Некрасова. Даже то, что его «лира» извлекала порой «фальшивые звуки», в чем он каялся, и то, что его жизнь не была в гармонии с его стихом, было поучительно, заставляло волноваться, размышлять и воспитывало ценное сознание необходимости, чтобы слово и дело были согласованы.

Позднее писателем, любимым и близким для всех нас, был Гл. Ив. Успенский: искренность и проникновенная любовь к мужику, к деревне родила его с нами.

Что касается Щедрина — для него особого уголка в душе не было. Его сатира росла по мере того, как развертывалась внутренняя жизнь в России и в культурном слое росло политическое сознание. В период «исканий» у нас были другие учителя, а когда его талант достиг своих вершин, мы вышли из периода юности и были поглощены практической революционной деятельностью, которой Щедрин был чужд.

Как относился Щедрин к нам в период наиболее острой борьбы с самодержавием? Сношения с ним никто из нас не имел — он был слишком осторожен для этого. Вероят-

но он смотрел на действующих революционеров, как смотрел другой редактор «Отечественных Записок» — старый писатель-народник Гр. Зах. Елисеев. С Елисеевым я встречалась со времени процесса 50-ти в 1877 г. Меня познакомил с ним и его женой Александр Львович Боровиковский, защитник моей сестры Лидии и других женщин, цюрихских студенток, судившихся по этому процессу.

При встречах после взрыва под Москвой и взрыва в Зимнем дворце, в то время как жена Елисеева говорила о панике, возникшей в Петербурге после этих взрывов, а мы готовили 1-е марта, Григорий Захарович в конце 1880 г. говорил мне: «Ну, что вы делаете? Бьете головой в каменную стену?.. только головы свои разобьете. И чего добиваетесь? Теперь секут без закона... а тогда будут сесть по закону».

Говорил так, а сам предложить ничего не имел.

Может ли мой личный пример (со студенческих годов и до заключения в Шлиссельбургскую крепость) и пример моего окружения считаться типичным? Конечно нет.

Для одних (в том числе и для меня) он обуславливался особыми условиями духовного развития (в 1872—1876); для других — исключительными условиями, в которых протекало революционное движение данного периода, и характером деятельности организации, и которой принадлежала я как член Исполнительного комитета партии «Народной воли». Условия же были таковы.

Мне было 19 лет, когда весной 1872 г. из имения отца в глухом Тетюшском уезде, Казанской губ. я уехала в Швейцарию, чтобы поступить на медицинский факультет Цюрихского университета.

Воспитывалась я в казанском Родионовском институте и пробыла в этом закрытом учебном заведении шесть лет (1863—1869). В нем имени Щедрина я не слышала.

Дома у нас в деревне выписывали «Отечественные Записки», а мой дядя Куприянов — передовой земский деятель — выписывал «Дело», а раньше «Русское Слово». Но на летних шестинедельных каникулах журналов я не читала, — читала исключительно отдельные повести и романы. О Щедрине не слышала. После выхода из института под влиянием дяди интересовалась книгами о государственном устройстве и жизни С.-А. С. Штатов и Швейцарии; сочинениями Д.-С. Милля (о свободе, об утилитаризме), книгами по естествознанию и статьями Писарева о превосходстве естественных наук.

В Цюрихе я попала в среду женской молодежи, съехавшейся со всех концов России, благодаря неверному слуху, что 1872 год — последний по приему женщин в университет без экзаменов.

В политическом отношении они были далеко впереди меня, но и передо мной скоро открылись широкие горизонты европейской жизни, и я познакомилась с волнующими идеями политическо-экономических течений Западной Европы. Революционные вопросы и социализм сосредоточивали на себе наше внимание, рабочее движение и Интернационал захватывали нас. О Щедрине в нашей среде не было и речи. Наши требования и общественные запросы с первой же минуты оказались шире содержания легальной русской прессы, и нашему развитию Щедрин не мог содействовать. Он осмеивал частные случаи, темные стороны русской жизни, а мы воспринимали и усваивали критику основ существующего экономического и политического строя, который существовал не только в России, но и во всех странах культурного мира. Нам не надо было карикатур и остроумных крылатых слов: мы не хотели смеяться. В своей свежей молодости мы были требовательны, серьезны и нетерпимы. Не смущаясь, я скажу: мы смотрели глубже, потому что смотрели в сущность вещей, и смотрели шире, потому что смотрели на зло, которым страдали все народы. И искали дела. Искали путей и средств для борьбы. Искали руководства в опыте истории народных движений, в истории революций, в истории борцов-революционеров; в описании их стремлений, побед и поражений думали найти указание, чтобы идти вперед к уничтожению всех социальных зол.

Что мог дать нам Щедрин в этих исканиях?.. Нам, которые в свои 18—20 лет, в политически свободной стране, были в водовороте европейской жизни?

В конце декабря 1875 г. я оставила университет и вернулась в Россию. Благодаря обширным знакомствам, заведенным в студенческие годы, передо мной были открыты

двери в круги квалифицированных революционных деятелей Петербурга. Через полгода я была членом группы тайного о-ва «Земля и воля», в июне 1879 г. участвовала в Воронежском съезде, а при расколе «Земли и воли» стала членом партии «Народная воля» и в качестве члена Исполнительного комитета оказалась в центре ее.

Тут были уже не искания: революционное движение, проходя одну стадию развития за другой, вступило в стадию боевой деятельности — от слова, от пропаганды словом перешло к действию, к пропаганде делом, от первенства переворота экономического революционное сознание повернулось к необходимости прежде всего свергнуть самодержавие и добиться политической свободы, без которой невозможно было движение вперед. И когда боевая деятельность «Народной воли», остановившая на себе «зрачок мира», развернулась, не русские легальные писатели вдохновляли и руководили революционным движением в борьбе с автократией, а мы заражали их действенным духом революции. Они могли только «сочувствовать», но принять участие в борьбе органически не могли. Даже в печатном слове они не могли идти с нами в ногу: когда народовольцы открывали им страницы своего свободного органа, они не были в состоянии писать в нем.

В итоге никто не вздумает отрицать общего значения и влияния передовой легальной прессы на общество и в частности на молодые поколения, но произведения легальных писателей имели значение подготовительной школы, после которой надо было идти дальше: бороться они не учили; претворять слово в дело — не учили. В духовном общении между собой и в нашем революционном окружении я за все время моей деятельности не слыхала никаких разговоров и суждений о Щедринае.

Внимание было обращено на других писателей, речь шла всегда о вопросах более близких для нас, революционеров:

Меня интересовало, какое значение имел Щедрин для поколения, непосредственно следовавшего за нами? Я думала собирать сведения, обращаясь к отдельным лицам.

Но редакция «Литературного Наследства», обращаясь ко мне, одновременно обратилась к «Группе народовольцев» при О-ве б. политкаторжан, и я присутствовала на заседании, на котором давались ответы на запрос редакции. К сожалению ответы были крайне малочисленны (8—9). Из них 6 были положительные — они свидетельствовали, что произведения Щедрина имели на данных лиц влияние революционизирующее. Любопытно, что на мой вопрос, в каком возрасте они читали Щедрина, трое отвечали: в 12, 13, 15 лет. Из шести — пять восьмидесятники и только один семидесятник.

Я хотела также знать мнение и того поколения, которое было старше моего, и в этом отношении имею два отзыва: знаменитого анархиста П. А. Кропоткина (род. 1842 г.) и революционера-бакуиниста Михаила Петровича Сажина (род. в 1845 г.).

В книге П. А. Кропоткина «Идеалы и действительность в русской литературе», в отношении которой положено восемь лекций, прочитанных П. А. Кропоткиным в Америке в 1901 г., он говорит: «В начале восьмидесятых годов, с прекращением террористической борьбы против самодержавия и с восшествием на престол Александра III, когда редакция восторжествовала окончательно, сатира Щедрина превратилась в крик отчаяния. По временам сатирик достигал величия в своей печальной иронии, и его «Письма к тетеньке» останутся в литературе не только как исторический памятник, но и как глубоко интересный психологический документ. Надо впрочем сказать, что и тут его сатира не достигла той силы, которой должна достигать истинная могучая сатира, бичующая так, что от ее ударов бичуемые приходят в еще большее бешенство, чем от прямых нападений. Вообще если сатира Щедрина имела хорошее влияние на молодое поколение тем, что выставляла ему напоказ всю пошлость «ликующих, праздноболтающих» и удерживала от засасывания в этом стане, то едва ли она могла оказывать одинаково положительное влияние, увводя людей «в стан погибающих за великое дело любви».

М. П. Сажин имел в период 1872—1876 гг. в Швейцарии обширные связи среди молодежи (учившейся в университетах и приезжей из России). Его наблюдения вполне совпадают с тем, что было высказано мной. Для него и для того поколения, по его

мнению, Щедрин не имел значения — они были революционнее его и переросли его сатиру.

Если бы редакции удалось собрать достаточно данных и разгруппировать их точнее по времени (60-е, 70-е и 80-е гг.), то возможен был бы вывод о связи отзывов с общим характером периодов, к которым они относятся, а именно с общественным подъемом и с усилением революционного движения, с одной стороны, а с другой — в связи с реакцией правительственной и общественной.

Быть может я не ошибусь, если скажу, что помимо развития таланта нашего сатирика его успех рос по мере усиления реакции с началом царствования Александра III, реакции не только политической, но и общественной, а в революционном движении было затишье и перестройка: старое направление отмирало, а новое только пробивало себе путь, складывалось, но еще не сложилось.

Такое впечатление произвело на меня заседание группы народовольцев, состоявшее почти исключительно из восьмидесятников. После, когда я спросила одного знакомого, чем он объясняет успех Щедрина в 80-е годы (его университетские годы), он не задумываясь ответил: «Тогда было такое темное время, что всякое слово обличения и осмеяния полицейских порядков нашего строя принималось с восторгом».

Интересно, как смотрел и оценивал сам Щедрин свою литературную деятельность.

В этом отношении знаменательна его статья — настоящая исповедь: «Имярек».

Упомянув, что в ранней молодости он был идеалистом-фурьеристом, переходя ко времени ссылки в Вятку, он говорит: «Юношеский угар соскользнул быстро. Понятие о зле сузилось до понятия о лихоимстве, понятие о лжи — до понятия о подлоге, понятие о нравственном безобразии — до понятия о беспробудном пьянстве, в котором погрязало местное чиновничество. Вместо служения идеалам добра, истины, любви и проч. — предстал идеал служения долгу, букве закона, принятым обязательствам» и т. д. (стр. 604).

О периоде после ссылки автор рассказывает: «Имярек вновь очутился в центре «большей деятельности» (в отличие от малой, провинциальной). Это было время, когда все носы, и водящие и водимые, смешались, когда мертвые встали из гробов и рванулись на встречу проглянувшему лучу света. Вместе с другими потянулся к лучу и Имярек. Эпоха возрождения была довольно продолжительна, но она шла так неровно, что трудно было формулировать сколько-нибудь определенно сущность ее... Лозунг его в то время выражался в трех словах: свобода, развитие и справедливость. Свобода — как стихия, в которой предстояло воспитываться человеку, развитие как неизбежное условие, без которого никакое начинание не может представлять задатков жизненности, справедливость — как мерило в отношениях между людьми, такое мерило, за чертою которого должны умолкнуть все дальнейшие притязания... И вот теперь, скованный недугом, он видит пред собой призраки прошлого. Все, что наполняло его жизнь, представляется ему сновидением. Что такое свобода — без участия в благах жизни? Что такое развитие — без явно намеченной конечной цели? Что такое справедливость, лишенная огня самоотверженности и любви?

Слова, слова и слова...» (Разрядка моя. — В. Ф.)

Читая эти скорбные слова, как не вспомнить другого, самого искреннего писателя того времени, так любимого всем нашим поколением, — Гл. Ив. Успенского, вполне сочувствовавшего нам, тогдашним революционерам. В письме Соболевскому, редактору «Русских Ведомостей», он говорит: «Да, надо действовать прямо. Ты — писатель (думают они), сочувствуешь и тому-то и тому-то? Ну так докажи (разрядка моя. — В. Ф.). Беда тебе будет? Плохо? До этого нам нет дела. Ты должен не быть зайцем, боящимся всего этого. Если вы, писатели, пишете то-то и то-то, то и на деле — пожалуйста. Это все верно, правда сущая, но я уже напуган. Вдохну, обдумаю, немного укреплюсь и, поверьте, сделаю так! Если я не сделаю так, то все чепуха, вся жизнь — вздор, сочинение, пустяки, презренные пустяки» (разрядка моя. — В. Ф.).

Требовательны были мы, требовательны и непримиримы. И Глеб Иванович прекрасно понимал нас, сущность нашу.

М. Ф. ФРОЛЕНКО

Вполне соглашаясь с тем, что о Щедрина сказали товарищи, и подписываясь под их писанием, от себя лишь замечу то, что в начале 70-х годов Щедрин для меня и для моих близких товарищей не был учителем в революции — мы учились ей на другом и у других учителей.

В 60-х годах, когда у нас начались реформы, многие набросились на них, думая своей службой приносить большую пользу обществу, народу, — но скоро в этом разочаровались, и вынесено было заключение, что легальной деятельностью хорошего ничего нельзя сделать — заплатами старого платья не починишь, — что для этого нужна революция и что только одна она может что-либо сделать, а потому только ею и следует заняться.

Этот завет был передан нам семидесятниками. Вот он, да плюс такие учителя, как Чернышевский, Великая французская революция, Коммуна и сделали в начале 70-х годов нас революционерами.

Беспощадный, всесторонний критик и сатирик Щедрин важен был для нас тем, что давал нам в руки ценные данные, которые вполне оправдывали нашу революционную деятельность и находили ее необходимо-нужной.

Кроме того, бичуя произвол, карьеризм, взяточничество, погоню за наживой, он не малое оказывал влияние и на широкие слои населения, вызывая у них критику существующего безобразия и благожелательное сочувствие к деятельности революционеров, побуждая при том молодежь самой заняться тем же.

В. И. ФРОЛОВ

Для революционно настроенной части студентов Петровской академии середины 80-х годов прошлого столетия Щедрин несомненно был своим писателем, таким же, как Глеб Успенский и Михайловский. День, когда появилось известие о запрещении «Отечественных Записок», был в подлинном смысле траурным днем: на лекциях, в столовой, в лабораториях только и разговору было, что об этом запрещении. Его «Сказки», изданные литографским и гектографским способом, пользовались широким распространением. Под буквы, которым по звуковому методу обучался Орел, подставляли слова террористического содержания. Наставник заставляет Орла заучить буквы: в, з, б, к, м — это расшифровывали так: вот завтра будет казнь монарха. Огромное и глубокое внимание привлекали к себе и легальные сказки Щедрина. В Бутырской тюрьме в качестве слушателей было два надзирателя; здесь были прочитаны и комментированы сказки «Христова ночь», напечатанные в «Русских Ведомостях», нелегально доставленных в тюрьму.

В ссылке в Березове политические ссыльные получали «Вестник Европы» единственно из-за того, что в нем печатался Щедрин, и большей частью на страницах Щедрина единственно и бывал разрезан журнал.

Когда Щедрин скончался, березовская колония послала семье покойного сочувственный адрес, в котором называла Щедрина своим учителем. Так как переписка ссыльных Березова была под контролем, то возникли опасения, что исправник не пропустит этот адрес. Однако исправник не только пропустил, но, прочитав наш адрес, перекрестился широким крестом и сказал: «Царство ему небесное. Закатилась великая звезда земли русской. Я ведь знал покойного: мы с ним вместе служили». Когда Щедрин был чиновником особых поручений при вятском губернаторе, наш исправник начинал свою служебную карьеру писарем вятского полицейского управления.

Н. А. ЧАРУШИН

Сатира Салтыкова-Щедрина по разнообразию своего идейного содержания и по силе вложенного в нее чувства, полагаю, не могла не иметь революционизирующего влияния на молодое поколение. Такое влияние, в числе других писателей, несомненно имел на меня и Салтыков-Щедрин. Всесторонний и беспощадный анализ русской жизни,

какой он давал в своих сатирах, не оставил живого места на теле России, и невольно под влиянием его писаний, почти всегда трогающих, создавалось представление о ней как о стране до последней степени угнетенной и придушенной, отданной на поток и разграбление разным Деруновым, Колупаевым и дельцам высшего порядка. Все это вместе взятое не могло не вызывать в читателе чувств возмущения и негодования, а в особо чутком и деятельном—стремления к борьбе с таким убийственным укладом жизни. Путь же для борьбы по условиям времени оставался почти один—революционный.

М. П. ШЕБАЛИН

Я также позволю себе сказать несколько слов. Конечно ничего похожего на такой прелестный кусочек литературы, какой сообщила нам В. И. Дмитриева, я дать не могу. Что касается моих современников, которые высказывались до меня, то я вполне подтверждаю их слова и могу сказать, что и на меня Щедрин производил такое же впечатление. Да и странно было бы, если бы он не производил этого впечатления,—ведь никто лучше Щедрина не изображал в тогдашней легальной прессе того социального строя, в котором мы имели несчастье родиться и жить. Скажите пожалуйста, кто так едко и так метко изображал администрацию? Никто, кроме Щедрина. Он умел сказать так, что все понимали всю ту гадость, которая была кругом и которую он именно хотел показать. Вместе с тем он это показывал так, что цензуре трудно было к нему придраться. Щедрин разоблачал не только администрацию, но и буржуазию тогдашнюю в лице Колупаевых и Разуваевых, его сатира затрагивала также либеральную прессу. Помните Тряпичкина, корреспондента, который мог что угодно сказать и что угодно продать? Словом, такой едкой сатиры на существовавший тогда строй, как у Щедрина, вы не найдете нигде в тогдашней литературе, разве только за границей. Этим и объясняется то влияние, которое он имел в свое время. Я хочу прибавить еще следующее: я знал уже тогда, что Щедрин—бывший петрашевец. Я знал, что это—аристократ, бывший губернатор, но все же петрашевец. Я знал это, и это меня подкупало в его пользу. Знал я также, что Д. И. Писарев относился к Щедрину отрицательно и сатиры его считал «невинным юмором», но я с этим не соглашался. В мое время впечатление, производимое Щедриным, все более разрасталось, и мы увлекались его статьями в «Отечественных Записках». Будучи студентом, я сам распространял нелегальные издания и продавал их по 3 и 5 целковых за штуку, что по тогдашнему времени было значительной суммой. Я не знал тогда, какая была связь у Щедрина с революционной средой; однако произведения его попадали в нелегальную печать. Я не знал тогда и того факта, который узнал, когда я сделал заведующим Музеем Кропоткина. Организовавшаяся в 1881 г. подпольная черносотенная «Священная дружина» замышляла убить П. А. Кропоткина, которого охранники считали главой всего революционного движения. Был послан за границу специальный убийца—какой-то офицер. Щедрин узнал об этом и с большой осторожностью предупредил П. А. об этом замысле, уехав за границу как бы для лечения. Таким образом план этот потерпел фиаско. Факт этот показывает, что в Щедрине петрашевец никогда не умирал. Я думаю, что Щедрин после ссылки в Вятку скрыл свое нутро, но сохранил его до конца жизни. Думается мне, что Щедрин был больше чем либерал, он был социалист-утопист. Поэтому он не смущаясь критиковал либералов и представлял в настоящем свете либеральных писателей.

Е. И. ЯКОВЕНКО

Читать Щедрина я начал в раннем возрасте. Мне было лет 13, когда у нас в доме появились «Отечественные Записки», которые я читал с большим усердием, не останавливаясь перед тем, что многое в них было мне тогда непонятно. И тогда уже, конечно не без влияния со стороны старших в семье, складывалось у меня представление, что Щедрин зло, но правильно осмеивает пошлость и отсталость чиновничьего мира, а вместе с ним всего царского правительства. А так как в семье нашей довольно сильно было оппозиционное направление и давался простор свободомыслию, то естественно, что

произведения Щедрина находили во мне восприимчивую почву. В то же время я, читая Щедрина, научился понимать, что под злою насмешкой скрывается сильный протест против царившего порядка, протест, который вдохновлял и звал на борьбу. Впоследствии мне становилось все более очевидным, что Щедрин не просто осмевал пошлость и холопство, но делал это потому, что существуют светлые, хорошие, достойные формы жизни, которым пошлость и холопство мешают осуществиться. Это еще более привлекало к чтению Щедрина. Ведь молодости нужен идеализм.

Недоброжелательство и озлобление, которые встречал Щедрин в чиновничьих сферах и в частности среди наших чиновников-учителей, укрепляли нас, гимназистов, в мысли, что именно за Щедрина нужно держаться,—его стрелы попадают в цель. Много позже бывший шлиссельбуржец, потом член Государственной думы В. А. Караулов как-то в Сибири рассказывал мне, что однажды при допросе его жандармским генералом Новицким в Киеве почему-то было упомянуто имя Щедрина. Жандарм с нескрываемой злобой сказал: «Скоро и господин Щедрин будет сидеть у нас на том же месте, где сидите теперь вы». В Щедрине жандармы видели революционизирующую силу, но не решались наложить на него руку, как позже не решались посягнуть на Толстого. Все-таки была еще некоторая боязнь общественного мнения.

В последних классах гимназии Щедрин уже был для нас одним из наиболее почитаемых и популярных современных писателей. Когда мы собирали между собой гривенники на приобретение хотя и легальной, но «хорошей» литературы, непременно приобретались сочинения Щедрина. Они переходили из рук в руки. От гимназического начальства это не могло скраться, и оно отбирало у нас сочинения Щедрина как «неподходящие» для чтения гимназистов. А мы их припрятывали наравне с литературой нелегальной — революционной.

Та же популярность Щедрина сохранялась и в студенческую пору (80-е годы). Это было время, когда едкая сатира у Щедрина стала давать место реалистическому изображению жизни. «Пошехонская старина», которая печаталась в то время, выпукло рисовала гниль и разложение крепостнического общества, оставившего нам в наследство вместе с нелепым самодержавием всепроникающее холопство и печальную отчужденность от народа и массы. С глубоким интересом мы читали в «Вестнике Европы» мелкие рассказы, а в нелегальных изданиях сильные своей беспощадной иронией сказки, в которых так легко угадываешь и живых людей, и действительные факты.

Когда в 1886—1887 гг. Щедрин начал часто болеть, мы, студенты, тревожно следили за его болезнью. Была отправлена к нему студенческая депутация с выражением нашего уважения к нему и с пожеланием выздоровления. Щедрин, больной, с обычным своим суровым видом, принял депутацию, но видимо был тронут сочувствием студенчества, благодарил.

Неоднократно в разные годы моей жизни я возвращался к чтению Щедрина: и в тюрьме, и в ссылке, и в годы общественной работы, и в последнее время, когда хочешь осмыслить опыт своей жизни... И всякий раз я находил и нахожу большое удовлетворение в этом чтении. И оглядываясь в далекое прошлое и оценивая в прошедшем перед моими глазами революционном движении не только сублимированную диалектику социальных сил, но и глубоко проникающие психические моменты, создающие революционное настроение и революционную психологию, без которых не бывает и революции,—я укрепляюсь в мысли, что произведения Щедрина много содействовали тому, что у меня, как и у моих сверстников и товарищей, развивалось и крепло революционное настроение. «Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей». Нельзя стать революционером, если не носить в сердце своем печали и гнева. А у Щедрина в его сатире было так много сильного, беспощадного, заражающего и увлекающего за собой гнева. Но не только сатира и гнев. У Щедрина находишь и скрытый идеализм, который становится все более и более ясным по мере того, как вчитываешься в осмысливаешь его творчество. Поэтому его меткая, бичующая, гневная сатира не умирает с временем, но остается сильной и живой, пока пороки власти, самодурство, холопство, пошлость и низость продолжают жить в человеческом обществе.

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН И РУССКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

(По личным воспоминаниям)

Л. Г. ДЕИЧ

Нашей эпохе — самой замечательной в истории всего человечества — предшествовала, как известно, неимоверно тяжелая и длительная борьба, потребовавшая неисчислимого количества жертв как со стороны лучшей части русской интеллигенции, так в особенности со стороны рабочих. К числу лиц, оказавших значительное влияние на наше революционное движение, бесспорно принадлежали наши передовые писатели — беллетристы, поэты, критики и публицисты. Из всех этих лиц в последние годы особенно большое внимание некоторые стали уделять почти полвека назад умершему нашему крупнейшему сатирику М. Е. Салтыкову: производится оценка давно забытых большинством читателей его произведений и высказываются различные взгляды относительно его роли как художника, публициста и общественного деятеля. При этом, как водится в таких случаях, одни готовы превознести Салтыкова сверх меры, называя его «самым известным и самым популярным писателем» 60-х годов, другие, наоборот, склонны совсем отрицать его влияние на революционеров.

Я являюсь теперь одним из немногих современников Салтыкова; к тому же, насколько было возможно при условиях моего революционного прошлого, я довольно внимательно следил в течение почти двух десятилетий за его литературной деятельностью. Думаю поэтому, что предлагаемые мои воспоминания окажутся не излишними, хотя бы в виду указанных разногласий относительно влияния Салтыкова на нас, революционеров минувшего столетия.

Мне было лет 13—14, когда я прочитал некоторые из наиболее популярных произведений наших знаменитых писателей, в том числе кое-какие Щедрина. Столь раннему моему знакомству с нашими классиками, — в ущерб древним авторам, которых, как известно, стали усиленно вколачивать в головы учившихся в гимназиях со второй половины 60-х годов, — в значительной степени я был обязан посещавшим моих старших сестер студентам, о которых скажу здесь несколько слов.

Их было шесть или семь и все они принадлежали к разночинцам, являлись демократами и нигилистами, которых связывало в тесный дружеский кружок единство взглядов, интересов и стремлений. Умные и симпатичные, все эти студенты разных факультетов Киевского университета усердно занимались своими специальными науками, но находили время и на чтение общей литературы, а также на беседы и споры по поводу разных современных вопросов. Как и преобладавшее во второй половине 60-х годов большинство наиболее зрелых, серьезных представителей передовой молодежи, все они признавали себя истинными последователями Чернышевского и Добролюбова, а также сменявших их в «Современнике» М. Антоновича и Ю. Жуковского; к Писареву же и к его товарищам по «Русскому Слову» — Зайцеву и Соколову — они относились с большим пренебрежением, считая их пустыми, вздорными молодыми людьми, которые своими нелепыми выходками только компрометировали передовую молодежь в глазах передовой части общества¹.

При всем глубококом уважении членов указанного кружка к Чернышевскому и Добролюбову, они однако не разделяли того беспредельного восторга, с каким прогрессивная часть нашей интеллигенции относилась ко всем без различия произведениям этих наших знаменитых просветителей: признавая их авторитетами по разнообразным вопросам, волновавшим в то замечательное десятилетие русское общество, почти все члены киевского кружка относились довольно критически к некоторым сочинениям Чернышевского и Добролюбова. Особенно запечатлелись в моей памяти горячие их споры по поводу романа «Что делать?» Как я вскоре после знакомства с произведениями Щедрина узнал, в своем отрицательном отношении к этому знаменитому роману члены названного кружка вполне сходились со взглядами на него Салтыкова. Напомню здесь о положении, которое в описываемое десятилетие занимал наш знаменитый сатирик.

Известно, с каким чрезвычайным одобрением Чернышевский, Добролюбов и другие выдающиеся писатели той эпохи отнеслись к появившимся в 1857 г. «Губернским очеркам» Щедрина, а затем к его «Помпадурам и помпадуршам».

«Мы считаем их не только прекрасным литературным явлением, — писал Чернышевский о первом произведении, — эта благородная и превосходная книга принадлежит к числу исторических фактов русской жизни. «Губернскими очерками» гордится и долго будет гордиться наша литература. В каждом порядочном человеке русской земли Щедрин имеет глубокого почитателя. Честно имя его между лучшими и полезнейшими и даровитейшими детьми нашей родины. Он найдет себе многих панегиристов, и всех панегириков достоин он. Как бы ни были высоки те похвалы его таланту и знанию, его честности и проницательности, которыми поспешат прославлять его наши собратия по журналистике, мы вперед говорим, что все эти похвалы не будут превышать достоинств книги, им написанной»².

Более сдержанный, но все же довольно лестный отзыв об этой же книге дал также Добролюбов.

«Упреки, делаемые г. Щедрину, — писал он в том же журнале, — раздаются только в отдельных, едва заметных кружках меньшинства. В массе же народа имя г. Щедрина, когда оно сделается там известным, будет всегда произноситься с уважением и благодарностью; он любит этот народ, он видит много добрых, благородных, хотя и не развитых или неверно направленных»³.

Тургенев отнесся сперва отрицательно к писательской манере Салтыкова, но он вскоре признал свою ошибку и заявил, что Щедрин «неоспоримый мастер и первый человек в своей области... То, что он делает, кроме него делать некому».

То же произошло и с Некрасовым, обладавшим, как известно, замечательным литературным чутьем; тем не менее он также сперва совсем не оценил Щедрина, но затем спохватился и пригласил его в число постоянных сотрудников «Современника», а потом и в редколлегию как этого журнала, так, после его закрытия, также «Отечественных Записок» и уже не расставался с ним до своей смерти.

Подобным же образом — сразу или после кратковременных колебаний — Салтыков с конца 50-х до середины 60-х годов считался многими очень оригинальным, талантливым писателем, но конечно не «самым популярным и известным», как заявил М. Олминский в своей о нем статье.

Выход в свет каждого нового произведения наших классиков являлся крупным общественным событием, вызывавшим чрезвычайное возбуждение, горячие дебаты и расхождения. Напомню о бесконечных толках по поводу «Накануне», «Аси», «Обломова», в особенности — об «Отцах и детях», что, как известно, поделило самый передовой слой нашей интеллигенции на два враждебных лагеря — на сторонников и противников Базарова.

Ничего аналогичного не произвело ни одно из появившихся в 60-х годах произведений Щедрина; более того: успех, вызванный его двумя крупными сочинениями — «Губернскими очерками» и «Помпадурами и помпадуршами», оказался непродолжительным, и огромные надежды, возлагавшиеся на него, как мы видели, «властителями наших дум» тогда, не оправдались в том десятилетии. Обуславливалось это общим состоянием нашей страны в описываемую пору, а отчасти также и личными свойствами Щедрина.

Недолго, как известно, длились восторги и ликования, охватившие всех передовых людей в начале царствования Александра II. В нашей стране совершался тогда огромный сдвиг.

Как на это реагировал Салтыков?

Прожив несколько лет перед тем в разных глухих захолустьях в качестве ссыльного и одновременно видного чиновника, Щедрин близко познакомился только с провинциальным миром, который в разное время затем и был им превосходно изображен. Но этого опыта и почерпнутых им из него сведений было конечно недостаточно для

той руководящей роли, которую ему поневоле пришлось играть в качестве соредактора самого передового журнала, каким являлся «Современник».

После смерти Добролюбова и ареста Чернышевского Щедрин наряду с Некрасовым оказался самым популярным руководителем «Современника». Не довольствуясь печатанием своих воспоминаний и впечатлений о прошлой — крепостнической — провинции, он счел себя в силах выступить также в качестве руководителя волновавшейся в то время молодежи, но первый же испеченный им блин вышел комом: в одном из печатавшихся им фельетонов из «Общественной жизни» он обратился к молодежи, названной им «птенцами», с увещанием не увлекаться, хотя тут же признал склонность к несбыточным стремлениям у юношей вполне естественной. Тем не менее он счел уместным предостерегать «птенцов», указав им на то, что «со временем эта склонность пройдет у них, и тогда они, к сожалению, увидят, что то была лишь «пародия на дело, одно лишь самообольщение». Таким образом, по утверждению этого будто бы преемника Чернышевского и Добролюбова, молодежи следовало довольствоваться тем, что ей предоставляет попечительное начальство. Не такие советы привыкли читатели этого журнала находить на его страницах.

В наименьшей степени изумили последних нападки этого нового «руководителя» на тогдашнюю передовую молодежь, на «нигилистов», которых Щедрин почему-то вздумал превратить в «нераскаившихся титулярных советников», а последних признавал «раскаившимися нигилистами».

Едва ли можно было счесть это определение остроумным, но что оно было неуместно, если не бестактно, это признали даже многие из горячих приверженцев «Современника», так как в то время разные ретроградные, а отчасти и либеральные писатели в своих романах и повестях всячески издевались над передовой молодежью: Щедрину не подобало, к тому же на страницах «Современника», присоединяться к сонму злостных клеветников передовой молодежи.

В своем ответе на появившиеся в «Русском Слове» хотя резкие, но вполне правильные опровержения этих промахов Щедрин попытался оправдаться, однако сделал это совсем неудачно. Посыпавшиеся поэтому на него еще более сильные нападки со стороны Писарева и Зайцева в сильной степени повредили его репутации даже в глазах многих из тех, которые раньше склонны были всячески смягчать неблагоприятные его выпады против романа «Что делать?» Чернышевского, напечатанного в том же самом журнале. Тогда же, как известно, появившаяся очень хлесткая и талантливая статья Писарева «Цветы невинного юмора», направленная против неудачных сатирических рассказов Щедрина, имела огромный успех: даже лица, совсем несогласавшиеся с критическими приемами этого высокоодаренного молодого публициста, вынуждены были признать его правоту, хотя при этом и покатывались со смеха по поводу преподанного им в конце статьи совета Щедрину вместо писания неудачных острот заниматься естественными науками.

К их числу принадлежали также члены кружка киевских нигилистов, но они вполне сходились со Щедриным в его отрицательном отношении к картинам жизни в фаланстерах, изображенным Чернышевским в известных снах героини его романа Веры Павловны.

Не буду останавливаться на других несогласиях этих непоследовательных приверженцев Чернышевского с изложенными им в его замечательном романе взглядами. Чем же объяснялись их расхождения с ним? Главным образом реакцией, вызванной, как известно, покушением Каракозова (4/16 апреля 1866 г.).

Члены названного выше кружка целиком принимали к сторонникам мирных взглядов; несмотря на свое отрицательное отношение вообще к проповеди Писарева и его товарищей, они также полагали, что являются теми же «новыми людьми», которых в лице Лопухова и Кирсанова Чернышевский вывел в своем романе.

* * *

Присутствуя при беседах и спорах, всегда сдержанных, корректных членов этого кружка, я конечно воспринимал все услышанное с большим интересом и без малейшей

критики. Года три я находился под влиянием этих очень практичных «реалистов». Но наряду с некоторыми положительными результатами я получил от них немало и отрицательных черт: несвойственные моему отроческому возрасту скептицизм, умеренность, излишнюю серьезность, короче — «преждевременную старость», как удачно определил П. Б. Аксельрод тогдашнее мое настроение при знакомстве со мною весной 1871 г.⁴ Только два-три года спустя я отделался от влияния этих чересчур «положительных реалистов». Я радикально изменил их отрицательному отношению к революционному движению, их неосновательному скептицизму по отношению ко всяким «утопиям», их ироническому взгляду на «юношеские увлечения», энтузиазм и т. д.

По окончании университета все члены этого умеренного кружка осуществили поставленные ими себе задачи — стали «добросовестными», «честными» легальными тружениками, недурно устроившимися на разных мирных поприщах. Насколько могу припомнить, только один из них — Мих. Игн. Кулишер приобрел впоследствии некоторую известность в качестве публициста и отчасти ученого. Почти всех остальных я затем, став революционером, потерял из виду⁵.

* * *

Лет пять спустя после упомянутого выше усилившегося реакционного периода, в самом начале 70-х годов, среди передовой молодежи вновь появилось в неслыханно более широком размере, чем это было в 60-х годах, стремление принять энергичное участие в общественной жизни. Возникло это стремление одновременно в разных концах страны, главным образом в столицах и в университетских городах, независимо одно от другого. Началось это движение с попыток вполне мирных и легальных: с кружков самообразования, с распространения разумных, тенденциозных книг, с преподавания трудящимся начальных знаний и т. п.; но конечно очень скоро правительственные преследования заставили молодежь уйти в подполье, перейти к революционной борьбе.

Начиная с этого периода — как, быть может, ни покажется это странным после вышеупомянутого отношения Щедрина к молодежи, — он стал все более и более завоевывать ее расположение и вновь становится очень популярным. Произошло это по следующим причинам.

Вместо закрытых после покушения Каракозова «Современника» и «Русского Слова» редакторы этих двух журналов — при несколько измененных ими составах сотрудников — стали владельцами «Отечественных Записок» и «Дела», которые вначале не пользовались большим успехом: их литературные силы не могли идти в сравнение с теми, которыми располагали погибшие журналы; к тому же цензура всячески препятствовала существованию у нас разумной и честной печати. Поэтому бывшая раньше колоссальной роль периодической печати все более и более падала: так, помню, что в начале 70-х годов многие из нас совершенно отрицали тогдашние ежемесячные журналы, но эти же лица с огромным интересом читали старые статьи Чернышевского, Добролюбова и Антоновича в «Современнике», который уже стал тогда библиографической редкостью. Понятно, что это придавало ему особенно большой интерес в наших глазах и неминуемо повышало рыночную его цену⁶.

Не могу теперь с уверенностью сказать, но вполне вероятно, что вышеприведенные чрезвычайно лестные отзывы Чернышевского и Добролюбова о Щедринах, с одной стороны, а также и резкие на него нападки сотрудников «Русского Слова» — с другой, имели то или иное влияние на возникший если не у всех, то все же у многих членов кружков саморазвития интерес к Щедринам. Знакомясь со старыми его произведениями, юные читатели конечно не все в них понимали, вследствие особенной литературной манеры, усвоенной Щедриным в значительной степени под влиянием цензурных рогаток.

От знакомства со старыми его произведениями некоторые из молодежи незаметно переходили к чтению печатавшихся в «Отечественных Записках» новых статей его, и наиболее любознательные юноши начали находить в них много интересного и поучительного. Этими сведениями некоторые из них умело стали пользоваться при возникав-

ших тогда среди нас горячих спорах о возможности или, наоборот, невозможности у нас мирной деятельности на легальном поприще в виду правительственных преследований.

Никто другой в начале 70-х годов не посвящал столько внимания и не обнаруживал такого умения изобразить самые разнообразные стороны как бывшего крепостного, так и сменившего его нового кулацкого строя, как Щедрин. В этом отношении его статьи являлись — в особенности для многих из молодежи — неисчерпаемым источником необходимых сведений в виду поставленной, как известно, себе тогдашней молодежью цели — уплатить тяготевший на ней «долг народу», иначе говоря: посвятить все силы, знания, способности, не останавливаясь ни перед какими жертвами, вплоть до самой жизни, делу освобождения угнетенных масс от испытываемых ими бедствий. Именно из произведений Щедрина некоторые из нас впервые почерпали сведения о невыносимо тяжелом положении освобожденных от крепостной зависимости крестьян как вследствие неимоверного обложения их многочисленными поборами, так и в виду быстро расплодившихся, кроме прежних, еще новых хищников. Впервые он изобразил целую галерею Деруновых, Колупаевых и Разуваевых, ставших с тех пор нарицательными именами. Он же описал, шаг за шагом, процесс превращения мелкого скупщика у крестьян их продуктов сперва в кабатчика-мироеда, затем в обладателя земель, лесами и усадьбами, приобретенными им за бесценок у разорившихся помещиков, и наконец становившегося ворочавшим миллионами строителем железных дорог, крупным банкиром. Вместе с награвленным богатством Дерунов являлся «столпом», на котором зиждились семья, собственность и государство, хотя в качестве «снохача» именно он нарушал главную основу семьи.

От Щедрина же мы узнали, как деревенский хищник смотрел на им же разоряемого земледельца, от чего мы, идеализировавшие последнего, приходили чуть не в бешенство.

«Крестьянину, — утверждал Дерунов, — дани платить надо, а не о приобретении думать... Всем он дань несет, не только казне-матушке... Так ему свыше написано... Ежели человек беден, так чем меньше у него, тем даже лучше: лишней обузы нет».

Дерунову же Щедрин вложил в уста замечательно удачное выражение, приобретшее большую популярность среди нас, революционеров: когда речь заходила о невозможности более выколотить что-нибудь из доведенного до нищеты крестьянина, Дерунов уверенным тоном говорил: «Он достанет!» Этими двумя словами хищник метко определял бесконечную выносливость тогдашнего несчастного земледельца, действительно умудрявшегося еще и еще «достать» для снабжения многочисленных своих эксплуататоров.

Щедрину принадлежало и другое удачное выражение — «чумазный идет!» Этими лаконичными фразами он вполне правильно определял лишь очень немногими его современниками понятый тогда наступивший у нас «процесс первоначального накопления». Едва ли Щедрину был уже известен незадолго перед тем приведенный Марксом в «Капитале» анализ этого процесса; скорее благодаря присущей Щедрину наблюдательности он самостоятельно дошел до вывода, что наша страна уже вступила в период первоначального накопления. Это тем более замечательно, что, как известно, и в то время и много еще десятилетий спустя — за редкими исключениями — разные так называемые у нас «передовые люди» не сомневались в «самобытности» нашей страны, в том, что ей не грозит тяжелый путь капитализма, давно уже господствовавший во всех цивилизованных странах.

* * *

Мало-помалу даже самые крайние отрицатели «легальных статей», не допускавшие в этом отношении никаких «компромиссов», все же стали интересоваться сообщениями лиц, читавших «Отечественные Записки», о произведениях Щедрина и о встречающихся в них метких выражениях. Затем нередко случалось, что этим крайним «отрицателям» легальных журналов приходилось в спорах с противниками революционеров ссылаться на Щедрина и со слов других приводить ту или иную иллюстрацию из его произведений: благодаря этому приему им нередко удавалось опровергнуть своего оппонента, поставить его в неловкое, а то и в смешное положение. Помню, как мой и ныне здравствующий

товарищ, студент в то время — Сергей Ястремский, во время производившегося у него в начале 70-х годов в Харькове обыска, обратился к товарищу прокурора с вопросом, не из училища ли правоведения он? Подтвердив это, последний выразил удивление, почему Ястремский сделал это верное предположение; последний сказал, что он сообразил это, благодаря изображению Щедриным «правоведов», чем немало сконфузил элегантного молодого прокурора.

Чем дальше, тем все больше произведения Щедрина приобретали среди нас, революционеров 70-х годов, популярность. Нам чрезвычайно нравилось, что он щелкал наших либералов за их «умеренность и аккуратность», за их «с одной стороны нельзя не сознаться, но с другой — надо признаться» и т. п. К тому же, беспощадно нападая на все решительно оттейки культурного общества, зло высмеивая представителей разных правительственных учреждений, администрацию, земство, изобличая представителей всяких профессий и т. д., Щедрин щадил трудящиеся массы и обходил молчанием нас, революционеров. Между тем в те времена считалось вполне дозволительным изображать нас в карикатурном виде, как сделал это Достоевский в «Бесах», хотя он и знал, что мы были лишены возможности ответить ему. Одно то уже, что Щедрин не присоединялся к этим клеветникам, говорило в его пользу. Мы конечно предполагали, что он не одобрял избранного нами пути, что он вероятно считал нас «увлекающимися юнцами», и мы находили такое его о нас мнение естественным в виду присущего ему скептицизма. Но в то же время нам казалось, что этот беспощадный сатирик не питал к нам никакой вражды, не относился к нам с насмешками, как это позволял себе тогда даже его товарищ по редакции, как Н. К. Михайловский⁷. Не могу теперь припомнить, знали ли мы тогда, что в конце 40-х годов Щедрин примыкал к петрашевцам и как мы к этому отнеслись. Помню только, что в отношении его, а также Некрасова никто из нас не только не считал предосудительным их участие в легальной прессе, а, наоборот, мы признавали, что их произведения имеют благотворное влияние на широкий круг читателей, чего они не имели бы, если бы, покинув Россию, примкнули к заграничным нашим писателям⁸.

Во второй половине 70-х годов нам стало каким-то образом известно, что Щедрин считает крайне предосудительными появившиеся в печати нападки на нас в виду того, что мы лишены возможности возражать на них. Передавали также, что его чрезвычайно возмутил появившийся в начале 1877 г. роман Тургенева «Новь», который он считал карикатурой на революционеров, между тем как последних Щедрин высоко ценил за проявляемое ими мужество, самоотверженность, энтузиазм, и что он скорбел по поводу неимоверно тяжелых наказаний, которым они подвергались за совершенные ими столь ничтожные преступления, как передачи, а иногда только хранение нелегального листа⁹.

Со смертью Некрасова общественное значение Щедрина с каждым годом все более стало возрастать. Вскоре он всеми был признан одним из наиболее популярных писателей, несмотря на то, что тогда находились в живых такие выдающиеся беллетристы, как Тургенев, Толстой, Гончаров, Островский. Вот что писал в то время по поводу значения Щедрина небезызвестный журналист и присяжный поверенный Е. И. Утин:

«Давно уже русский писатель не производил на современное ему общество такого глубокого впечатления, как г. Салтыков. Каждое новое его произведение читается с жадностью, все о нем говорят, спорят, значительное большинство восхищается им».

Едва ли к концу 1880 г., когда была написана эта статья¹⁰, находилось среди нас, революционеров, много лиц, не разделявших этого «восхищения большинства» Щедриным, хотя, как известно, в указанное время наше движение приняло уже террористическое направление и участники последнего имели основание предполагать, что он не очень одобряет восторжествовавший среди нас способ борьбы.

В описываемое мною время преобладавшее большинство нашего передового либерального общества, после вынесенного присяжными заседателями оправдательного приговора стрелявшей в генерала Трепова Вере Засулич, вдруг прониклось чрезвычайным радикализмом: оно не только готово было — конечно втихомолку — рукоплескать тер-

рористам, но также соглашалось оказывать им всякого рода поддержку, не исключая и незначительных денежных ссуд, потому что рассчитывало в дальнейшем их руками жар загребать. Только Щедрин никак нельзя было причислить к этим «отчаянно смелым», «политическим деятелям». Прямой, честный, ярый противник каких-либо компромиссов, Щедрин был далек от таких «увлечений до самозабвения», до полной потери способности понимать переживаемое тогда нашей страной настроение. Мы, так называемые «чернопередельцы», возраст большинства которых едва перевалил тогда, в 1879—1880 гг., за 24—25 лет, тем не менее понимали, что путем террористических актов не только нельзя будет добиться у нас политических свобод, но что, наоборот, можно вызвать еще более жестокую реакцию, чем уже существовавшая тогда в России. Тем более, следовательно, старый опытный писатель-практик, склонный скорее к скептицизму, чем к увлечениям, не мог потерять головы и наверно не потирал своих рук от удовольствия при каждом известии о новом террористическом акте, как это сплошь делали тогда многие представители нашего либерального общества. К числу восторгавшихся увлечением молодежи террором примкнул, как известно, и Михайловский. Щедрин же вероятно с чувством скорби и тревоги покачивал своей седой головой при каждом известии о новом террористическом акте, предвидя приговоры к смертным казням и к многолетней каторге юным энтузиастам, исполнителям этих актов, и не ожидая за эти ужасные жертвы даже «куцой конституции». Но кем же в ту пору являлся Щедрин? — быть может заинтересует узнать читатель.

Некоторые современные исследователи революционных движений той эпохи заявляют, будто Щедрин примыкал к народникам. Сам принадлежал тогда к ним, я решительно утверждаю, что это совершенно не верно. Вспомним, каков был его взгляд на главную основу народничества — на земельную общину. В то время все мы считали ее устойчивой, прочной, гарантирующей Россию «от язвы пролетариата», по известному выражению Н. Г. Чернышевского. Между тем раньше, чем кто-либо другой, Щедрин писал о ней следующее:

«Говорят, в России не может быть пролетариата, ибо у нас каждый бедняк есть член общины и наделен участком земли, но забывают, что существует громадная масса мещан и что с упразднением крепостного права к мещанам присоединилась еще целая масса дворовых людей. Кроме того забывают еще и то, что около каждого «обеспеченного наделом» выскочил Колупаев. Вместо того чтобы уверять все, что вопрос о распределении уже решен нами на практике, мне кажется приличнее было бы взглянуть в глаза Колупаевым и Разуваевым и разоблачить детали того кровавопийственного процесса, которому они предаются. Почему? Каким образом? И в особенности, с чьей помощью? Вот если это «с чьей помощью» как следует выяснить, тогда сам собою разрешится и другой вопрос: что такое современная русская община и кого она наипаче обеспечивает: общинников или Колупаевых?» («За рубежом»).

В ту пору (в начале 80-х годов) по этому вопросу не мог бы решительнее высказаться даже самый ярый марксист.

К роли кровопийц, вносящих расслоение в крестьянскую среду и подготавливающих почву для наступления капитализма, Щедрин возвращался неоднократно во многих своих произведениях.

«Чумазный идет, чтобы показать, где раки зимуют, — писал Щедрин. — Он наглый, с цепкими руками, с несытой утробой. Его пришествие уже приветствуют охранители и публицисты. Арена его обездоления бесконечна, и всегда будет казаться, что процесс обездоления не совершил всего своего круга. Мироедский период еще не исчерпал своего содержания. Сдается, что придется пережить эпоху чумазовского торжества».

Похоже ли это на народничество? Наоборот, в каждом народнике такие взгляды вызывали тогда крайнее возмущение. Когда мы, народники, устраивали «прочные поселения» в деревнях, чтобы готовить крестьянские бунты, Щедрин несомненно не верил ни в целесообразность этих наших планов, ни в их осуществимость. Он конечно несколько не идеализировал русского крестьянина, не считал его, как мы тогда, наделенным всевозможными добродетелями, от рождения склонным к альтруизму, кол-

лективизму и бунтарству. Презвому взору этого чуткого и отзывчивого наблюдателя уже тогда ясно представлялась необходимость «пережить эпоху чумазовского торжества», иначе говоря, эпоху процесса первоначального накопления, а затем — по примеру западноевропейских стран — также и капитализма. Когда мы в качестве народников решительно отрицали возможность у нас этого процесса, считая его губительным для нашей страны, Щедрин, видимо, вовсе не приходил в отчаяние от этой перспективы, а лишь обращался к лучшим своим современникам с такими советами:

«Не погрязайте в подробности настоящего, не воспитывайте в себе идеалы будущего, ибо это своего рода солнечные лучи, без оживляющего действия которых земной мир обратился бы в камень... Вглядывайтесь часто и пристально в светящиеся точки, которые мерцают в перспективах будущего. Только недальноруким умам эти точки кажутся беспочвенными и оторванными от действительности...»

Тогда же Щедрин утверждал, что «жизнь без идеалов — это совокупность развращающих мелочей».

Подобными прозрачными высказываниями — при свирепствовавшей тогда цензуре — своей веры в «светящиеся точки, мерцавшие в перспективах будущего», Щедрин приобретал наши глубокие симпатии и уважение. Едва ли кому-нибудь из нас, народников, приходило тогда на ум сопоставлять Щедрина по его влиянию на современников с кем-нибудь из самых популярных тогдашних писателей. В качестве художника мы, правда, признавали, что он уступал Тургеневу, Достоевскому и Толстому, но никто из них не пользовался тогда у нас не только особенным, но даже простым расположением, так как каждому из них мы могли предъявить тот или иной счет по поводу его отношения как к нам, революционерам, так в особенности к трудящимся массам, для которых Толстой, Тургенев и другие писатели из помещиков являлись такими же паразитами, как и всякие эксплуататоры.

В описываемое мною время, т. е. в конце 70-х годов и в первые годы следующего десятилетия, Щедрин если не у всех тогдашних революционеров, то во всяком случае среди многих из них занимал совершенно исключительное, ни с чем несравнимое положение. Никакое из существовавших тогда у нас передовых, а также и крайних течений не в праве было причислять его целиком к своим единомышленникам, хотя, как известно, разных мастей либералы «готовы были с ним родными счесться», несмотря на постоянное им их высмеивание. Мы, «радикалы», как в те времена величали всех без различия направлений социалистов, совсем не считали его своим единомышленником, что явствует из вышеприведенных выдержек из его произведений. Тем не менее, повторяю, многие из нас чувствовали к нему не только наибольшую личную симпатию, но и глубочайшее уважение как к единственному тогда неподкупному, честному легальному публицисту.

Насколько мне известно, Щедрин, не в пример вышеназванным выдающимся нашим писателям, не имел никаких личных знакомых в нашей среде и не только не искал их, но даже как будто избегал заводить их с нашим братом как в России, так и во время пребывания своих за границей. И мы, насколько могу теперь припомнить, не только не ставили эту его отчужденность от нас ему в вину, а, наоборот, признавали такое его отношение более тактичным, скажу откровенно — более честным, чем например тогдашние заигрывания с молодежью Тургенева: после каждого за эти заигрывания шипения на него Каткова он, как известно, спешил публично открититься от всякой с нами связи, а тем более симпатии к нам. К тому же, хорошо зная тех немногих, далеко не из лучших, представителей тогдашней нашей эмиграции, вроде известного ренегата, сотрудника «Нового Времени» Исаака Павловского, которому тогда протектировал Тургенев, мы находили, что Щедрин много выигрывал тем, что за границей не заводил подобных связей. Единственными его знакомыми там были Лавров и Зибер. Но, насколько могу припомнить, он непрочь был познакомиться с примыкавшим к группе «Освобождение труда» Ильей Николаевичем Игнатовым, о чем сообщу здесь все, что удержалось в моей памяти.

Это было летом 1883 г. Плеханов и мы, его товарищи, уже решили тогда выступить в качестве самостоятельной марксистской группы, в которую вступил Вас. Ник.

Игнатов; младший же брат его Илья как-раз в это время приехал к нему в Женеву по окончании им ссылки, а также и обязательной воинской повинности. Помню, Илья Николаевич обратился однажды ко мне с просьбой помочь ему в помещении написанного им в ссылке очерка в «Отечественных Записках», пользовавшихся тогда уже большой популярностью, благодаря главным образом Щедрина и лишь отчасти Михайловскому, который после оправдания Засулич радикально изменил свое отрицательное отношение к революционерам и даже сам стал подписывать в «Народной Воле». Попасть в этот журнал новичку, к тому же с беллетристикой, считалось очень трудным, так как было известно, что этим отделом заведует «чрезвычайно строгий, придирчивый Щедрин». Это я и сообщил Илье Николаевичу, но он уверенным тоном заявил, что не сомневается в одобрении последнего, лишь бы только рукопись попала в его руки.

Этот Игнатов, как и старший его брат Василий, произвел на меня и на других членов нашей группы, не знавших его раньше, впечатление человека серьезного, вдумчивого, к тому же скорее недооценивавшего чем переоценивавшего свои силы и способности. Я поэтому, не читая его очерка, согласился попросить Лаврова о пересылке отправленной ему рукописи с соответствующей его рекомендацией к Щедрину.

Довольно скоро Лавров уведомил меня, что ему не понадобилось пересылать рукопись в Петербург, так как Щедрин приехал в Париж и он лично передал ее ему. Вскоре пришло от него же второе письмо, в котором он извещал, что рассказ Игнатова чрезвычайно понравился Щедрину: последний просил его передать автору его просьбу явиться к нему, так как Щедрин предположил, что Игнатов находится в Париже, но, узнав, что тот в Женеве, он выразил большое сожаление, так как находил необходимым в виду цензурных условий произвести в очерке значительные изменения, которых без согласия автора не хотел делать. При этом он самым лестным образом отозвался об этом очерке, признав у Игнатова несомненный беллетристический талант¹¹.

Нетрудно себе представить, как по этому поводу возликовали все мы, в особенности же Г. В. Плеханов, издавна ценивший Щедрина почти так же высоко, как и Некрасова.

Обладая изумительной памятью и остроумием, Георгий Валентинович с присущим ему умением всегда чрезвычайно кстати приводил остроумные фразы из статей Щедрина, чем нередко вызывал у присутствовавших взрывы смеха. Щедрина он признавал одним из самых умных наблюдателей и наилучшим изобразителем разных сторон русской действительности, что в виду занятой тогда Плехановым вместе с нами, его единомышленниками, марксистской позиции он считал исключительно важным.

Как-раз летом этого же 1883 года в «Отечественных Записках» печатались замечательные «Письма в тетеньке» Щедрина, которые вызывали у Плеханова, да и у всех нас, остальных, большой восторг. Георгий Валентинович приводил из них на память большие выдержки. Помню между прочим, что, когда в предшествовавшем году появилась первая статья Плеханова в «Отечественных Записках» — «Новое направление в политической экономии», он мне однажды сказал, что ему доставляет большое удовольствие печататься в журнале, редактируемом Щедриным, и рядом с его статьями, — до того высоко ценил он последнего. Из произведений Щедрина Плеханов приводил много иллюстраций, подтверждавших защищаемые им и нами тогда взгляды по поводу происходившего в России экономического процесса. При этом он недоумевал по поводу непоследовательности или близорукости главного редактора научного отдела «Отечественных Записок» Михайловского, который допускал, как он говорил, «измышления В. В.» Последний тогда же выступил в «Отечественных Записках» же с решительным отрицанием не только в то время, но и в будущем возможности появления капитализма у нас в виду того, мол, что все рынки уже захвачены другими странами. По мнению Плеханова, Щедрин, не претендовавший на редактирование научного отдела, неизмеримо лучше, правильнее разбирался в вопросе о «судьбах капитализма в России», чем занимавший этот пост Михайловский.

Наряду с Плехановым, и В. И. Засулич издавна являлась горячей поклонницей Щедрина: она также всегда внимательно следила за его произведениями и, по получении каждой новой книжки его журнала, прежде всего разрезала страницы его статей. Отличаясь, как и он, большой наблюдательностью, тонким чутьем и безграничной отзывчивостью, Вера Ивановна любила Щедрина за его правдивость, искренность, последовательность и в этих, как и в некоторых других, отношениях она считала его неизмеримо лучшим человеком, чем например Тургенев или Достоевский. Поэтому, при желании, она конечно могла бы познакомиться с Тургеневым, так же, как и она, многие годы проживавшим за границей, но она не только не стремилась к этому, а, наоборот, решительно отклоняла это не вследствие присущей ей застенчивости и скромности, а потому, что многое в характере и поведении автора «Нови» претило ей. Зная ее хорошо, я глубоко убежден, что, встретиться она со Щедриным, она близко сошлась бы с ним, без удержу кричала бы ему, размахивая руками перед его лицом, как это у нее всегда происходило в оживленных ее беседах с симпатичными ей людьми, хотя бы из числа знаменитых иностранцев, как например с Фр. Энгельсом, Элизе Реклю, Лефранс и другими.

Да и вообще все члены группы «Освобождение труда» являлись большими почитателями нашего крупнейшего сатирика, хотя помню, что мы себе представляли его угрюмым, суровым, неприветливым стариком.

Не могу сказать, чтобы так же внимательно относились к Щедрину другие видные тогда эмигранты. Конечно Лавров, Драгоманов, Лев Мечников следили за его статьями, но нельзя того же сказать о таких «старожилах», как Н. И. Жуковский, Эльсниц, Жеманов и другие: едва ли они вообще заглядывали в какой-нибудь русский журнал. Даже такой многосторонне начитанный человек, как Кропоткин, насколько могу теперь припомнить, мало, если не сказать совсем, не следил тогда за нашей публицистикой и беллетристикой, чем, мне кажется, можно отчасти объяснить его неправильные суждения о разных сторонах жизни нашей страны, а также и о таких крупных писателях как Тургенев, Щедрин и другие, при чем первого он переоценивал, а второго недооценивал¹².

Наш сатирик пользовался особенным расположением со стороны проживавших тогда за границей наиболее видных народовольцев — их тогда лидеров Тихомирова и Ошаниной. Вот что первый писал о Щедрине в выпущенной им на французском языке книге о России:

«...В наше время, т. е. в царствование Александра III, Щедрин испускает вопль отчаяния... Это великолепная сатира — «Торжествующая свинья». «Я привык до сих пор,— говорит сатирик,— переносить все страдания с легкомысленной уверенностью, что «бог не выдаст, свинья не съест». Но ныне в первый раз сатирик испугался. Он восклицает: «Съест нас свинья, съест!» Не преувеличивайте, однако, этого страха! Посмотрите, как зло этот напуганный человек обращается с этой свиньей — торжествующей реакцией,— и вы убедитесь, что он очень далек от подлинного отчаяния»¹³.

Между тем едва ли в описываемое время Щедрин признавал террор спасительным средством для уврачевания нашей страны; едва ли также верил он в благодетельность для нее намерения народовольцев «захватить власть» руками нескольких десятков гражданских и военных молодых людей.

Не особенно значителен был контингент почитателей Щедрина среди многочисленных тогда уроженцев России, учившихся в разных заграничных высших учебных заведениях, которые, занятые по уши зубрением своих курсов, не имели возможности следить за русскими журналами. Все же, в общем, находившиеся за границей русские с большим наслаждением читали произведения нашего сатирика. Здесь, мне кажется, естествен вопрос со стороны читателя: как мы представляли себе отношение Щедрина к нам, вновь народившимся марксистам? Считали ли мы, что он разделяет наш взгляд на роль рабочих как на главный рычаг для свержения господствовавшего строя и замены его новым, социалистическим?

Нет, мы этого не думали. Наоборот, мы были уверены, что, подобно почти всем нашим тогдашним передовым общественным деятелям, не верившим ни в прочность

наших «устоев», ни в благотворительность крестьянских бунтов, ни в спасительность для страны «захвата власти» кучкой заговорщиков, также и Щедрин должен был находить неосуществимыми, фантастичными цели и средства для их достижения, проповедуемые Плехановым и нами, его товарищами. Несмотря на производимый Щедриным вполне правильно анализ происходившего тогда в нашей стране экономического процесса, он все же мог считать несвоевременными наши воззрения, хотя бы в виду того, что рабочий слой в России был тогда крайне незначителен по сравнению с остальным ее населением. И, в подкрепление своего отрицательного отношения к нашим стремлениям, он в праве был сослаться на постоянного тогда сотрудника «Отечественных Записок» проф. Н. Зиберу: последний, как известно, самым решительным образом отрицал целесообразность не только революционной, но даже профессиональной деятельности как интеллигенции, так и рабочих и не только в России, но также в наиболее передовых странах¹⁴. Но мы допускали, что, будь Щедрин знаком с нашими взглядами, он быть может нашел бы их более правильными, чем воззрения господствовавших тогда народных удовлетворенцев. Между тем покойный М. С. Ольминский в статье «Щедрин и Ленин» заявил следующее:

«Не может быть сомнения, что Щедрин читал и полемизировал с Фр. Энгельсом с Ткачевым, и первые брошюры группы «Освобождение труда», и если бы он дожил до выступления Н. Михайловского против марксистов и до ответа ему Ленина, то он не был бы на стороне Михайловского».

Далее Ольминский допускал, что у Щедрина во второй половине 80-х годов произошел «возврат к исконным его идеям в духе марксизма»; он также считал, что в написанном Щедриным еще в 1849 г. рассказе «Брусины» «можно видеть отражение «Коммунистического манифеста» Маркса и Энгельса, а в «Благонамеренных речах» видно отражение книги «Происхождение семьи, собственности и государства» Фр. Энгельса. Поискать, вероятно найдешь и другое. Недаром К. Маркс интересовался Щедриным»¹⁵.

Вполне соглашаясь с М. Ольминским в том, что, доживи Щедрин до 90-х годов, когда в Петербурге возник «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» и завязалась горячая схватка между старыми народниками и молодыми марксистами, он не отнесся бы к нашему движению так, как Михайловский: известно, что последний крайне возмутительно повел себя по отношению к марксистам, — значительно хуже еще, чем, как мы уже знаем, он отнесся в начале 70-х годов к молодежи, уходившей в народ. Но другие утверждения М. Ольминского вызывают у меня некоторые сомнения... Так я и, полагаю, другие члены нашей группы совершенно не знали, что Щедрин читал наши первые брошюры. Откуда покойный Ольминский почерпнул этот «несомненный», по его словам, факт, этот вопрос остается пока открытым. Сомнительно мне также указанное им «отражение» «Коммунистического манифеста»; что же касается влияния книжки о «Происхождении семьи, собственности и государства» на «Благонамеренные речи», то в этом предположении Ольминского очевидное недоразумение, так как названное произведение Энгельса появилось в 80-х годах, а «Благонамеренные речи» — в 70-х. Едва ли также верно, будто у Щедрина произошел «возврат к марксизму». Нет, Щедрин ни раньше, ни в 80-х годах не придерживался марксистских взглядов, чему подтверждением может, мне кажется, служить его письмо, посланное им Е. И. Утину в январе 1880 г. Приведу из него следующую выдержку:

«Мне кажется, что писатель, имеющий в виду не одни интересы минуты, не обязывается выставлять иных идеалов, кроме тех, которые исстари волнуют человечество, а именно: свобода, равноправность и справедливость. Что же касается практических идеалов, то они так разнообразны, начиная от конституционализма и кончая коммунизмом. что останавливаться на этих стадиях — значит добровольно стеснять себя. Я положительно убежден, что большее или меньшее совершенство этих идеалов зависит от большего или меньшего усвоения человеком тайн природы и происходящего отсюда успеха прикладных наук. Ведь семья, собственность, государство — тоже были в свое время идеалами, однако и они видимо исчерпались».

После такого изложения самим Щедриным его взгляда на «идеал» можно ли признать последний «марксистским»? Думаю, что под этими его строками охотно подписался бы тогда любой либерал. Но мы уже знаем, что Щедрина нельзя причислить к либералам.

В виду вышеизложенного его, по-моему, необходимо отнести к социалистам-электрикам, наиболее ярким представителем которых являлся у нас Лавров. Это значит, что выдержанных, последовательных взглядов не было у этих социалистов, что они стремились отовсюду — по правильному определению Энгельса — заимствовать то, что им казалось хорошим, полезным, справедливым, отбрасывая то, что они считали вредным.

Скажу теперь несколько слов об отношении Маркса к Щедрину. По этому важному вопросу имеется в печати несомненное свидетельство самого Маркса. Из сделанных им заметок на поля некоторых произведений нашего сатирика видно, как он внимательно читал в подлинниках сочинения последнего, как он тщательно подчеркивал в них указания и рассуждения автора по поводу разных сторон тогдашней русской действительности. В этом отношении поразительно совпадение интереса Маркса с упомянутым мною выше интересом наших молодых революционеров начала 70-х годов. Не могу здесь остановиться на этих чрезвычайно интересных заметках Маркса, — рекомендую лицам, не знающим их, познакомиться со статьей Ф. Гинзбург «Русская библиотека Маркса и Энгельса»¹⁶. Здесь ограничусь приведением следующего отзыва Маркса о произведении Щедрина «Убежище Монрепо» и вообще о сделанных последним выводах: «La dernière partie de la «Предостережение» est très faible; généralement l'auteur n'est pas heureux dans ses conclusions positives». (Последняя часть «Предостережения» очень слаба. Вообще автор не очень счастлив в своих «положительных» выводах). Вязется ли этот отзыв Маркса с сообщением М. Ольминского, будто у Щедрина был «возврат к марксизму»? Можно ли возвратиться к тому, чего раньше не было?

От всех этих заметок по поводу отношения к Щедрину эмигрантов перейдем к основной категории его читателей, находившейся совсем в другой стране и в иных условиях.

Зимой 1885/86 г. я очутился на дальней окраине Восточной Сибири — в Карийской политической каторжной тюрьме. Заключенных в ней в то время было 64 человека, преобладавшее большинство которых принадлежало к революционной молодежи второй половины 70-х и начала 80-х годов. Почти все эти лица были осуждены по народофильским и террористическим процессам, происходившим в столицах и в разных крупных городах. К тому же лица эти уже в течение нескольких лет содержались в тюрьмах, что, как известно, накладывало на заключенных специфический отпечаток. То была новая формация революционеров, в некоторых отношениях отличавшаяся от своих предшественников, которые не занимались террором, а ходили «в народ».

По некоторым причинам, на которых не стоит останавливаться, я не могу теперь с полной уверенностью сказать, как преобладавшее большинство лиц, находившихся тогда в нашей мужской тюрьме на Каре, относилось к Щедрину и к его произведениям: кажется, что он в ту пору и в этой среде не пользовался такой исключительной популярностью как среди нас, народников 70-х годов, а также и среди марксистов последних десятилетий XIX столетия. Мне кажется, что произведения Щедрина уже не являлись для преобладавшего контингента карийских читателей источником полезных для них сведений, так как приверженцы народившегося у нас нового революционного течения не нуждались во всестороннем и более правильном ознакомлении с русской действительностью; вместо них, а также и ознакомлений с разного рода социально-политическими теориями и учениями, являлась необходимость в столь специальных технических знаниях, как способы приготовлений взрывчатых веществ, устройства метательных снарядов и т. д. Такого рода сведений конечно невозможно было почерпнуть из произведений Щедрина; к тому же его писательская манера действительно в значительной степени уступала бесспорно высоким художественным талантам наших классиков. Все же Щедрин решительно всеми почти заключенными на Каре считался

интересным писателем, и его сочинения читались как в одиночку, так и сообща, по вечерам, когда в камерах чистили картошку. При этом нередко раздавался дружный смех и похвалы по его адресу, а по окончании чтения поднимались оживленные дебаты. Что запутанный, туманный способ его изложения, вызванный тогдашними цензурными условиями, нередко сбивал с толка даже очень умных и развитых читателей, подтверждением этому может служить следующая выдержка из «Дневника Карийца» Я. Стефановича:

«1-е декабря¹⁷. Старик Щедрин распотешил «Пошехонской стариной». Удивительная свежесть памяти и живость воспроизведения у старика. Но по прочтении остается осадок чего-то удручающего, тоскливого. Щедрин не всегда умеет взять такой тон, который давал бы чувствовать под слоем человеческой мерзости нечто по крайней мере потенциально отрадное. Нет у него и той грустной нотки, которая, мне кажется, и придает сатире гуманизирующее значение. А то пишет, как будто бы ведет рассказ в кругу приятелей после обеда с хорошим вином».

Ясно, что мой старый друг совершенно не знал, при каких ужасных условиях приходилось Щедрину в то время протаскивать в печать свои произведения: ведь то было после убийства Александра II, когда с каждым годом все более усиливалась реакция, когда «Отечественные Записки» были давно закрыты и когда Щедрину с большим трудом удавалось находить приют в некоторых журналах, опасавшихся за свое существование. При господствовавшем тогда крайне враждебном к нему отношении всякого рода властей можно было, наоборот, удивляться его находчивости, способности провести цензуру. Только из недавно опубликованной его переписки стало известно, сколько неимоверных мучений пришлось Щедрину вынести, особенно в последние годы его жизни. Приведу здесь из нее следующие выдержки:

«Скажу вам откровенно, — писал он Михайловскому 14 февраля 1884 г., т. е. за два с чем-то месяца до закрытия «Отечественных Записок», — мне становится невыносимо скучно. И стар я, и болен, а тут еще в Цензурный комитет требуют и работу уничтожают. Крепко подумываю об отставке».

«...Прибавьте при этом неизлечимую болезнь и старческий упадок сил, и вы получите понятие о моем каторжном существовании», — это из письма к И. И. Ясинскому от 27 марта того же года. А вот что он писал через полтора месяца:

«Прежде, бывало, живот у меня заболит — с разных сторон телеграммы шлют: живите на радость нам, а нынче¹⁸ вон, с божьей помощью, какой поворот — и хоть бы одна либеральная свинья выразила сочувствие» (из письма к П. В. Анненкову от 3 мая того же года).

Сообщив затем Михайловскому, что московский генерал-губернатор кн. Долгоруков предупредил редактора «Русской Мысли», чтобы тот не принимал статей бывших сотрудников «Отечественных Записок», иначе «несдобровать» его журналу, Щедрин добавил:

«...Все эти подходы имеют в виду преимущественно меня. Желают, чтобы меня нигде не принимали, а публика будет думать, что я сам бросил: благородно и остро!»

«...Легко сказать: пишите бытовые вещи... И куда итти?.. Последний № «Вестн. Евр.» просто претит, а это все-таки лучшенькое. Да еще примет ли Стасюлевич?.. О читателе скажу вам, что, хотя я страстно его люблю, но это не мешает мне понимать, что он великий подлец»¹⁹.

И при таком лестном мнении о «лучших» тогдашних журналах и о читателе Щедрин, стоя уже на краю могилы, вынужден был писать! Но он не мог сидеть, сложа руки, не писать. Понятно поэтому, почему в его письмах этого периода срываются выражения, будто он «надоел всем до смерти», что «лучше бы он сошел с ума» или «покончил самоубийством»...

Если при таком физическом и моральном состоянии Щедрин все же был способен так писать, «будто бы ведет рассказ в кругу приятелей после обеда с хорошим вином», то это можно только поставить ему в огромную заслугу. Благодаря этой способности он, несмотря на чрезвычайную придирчивость цензуры, всякими способами изощрялся проводить дорогие ему взгляды, для чего прибегал то к воспоминаниям из

«Пошехонской старины», то к форме «Писем к тетушке» и к «Сказкам». При этом даже в самых мрачных его изображениях печальной русской действительности в течение последнего, наиболее тяжелого периода его жизни все же где-то впереди мерцал просвет для него и «любимого» им «читателя-подлеца», все же повторял он, что «золотой век не позади, а впереди нас», куда он и звал читателя-друга вплоть до самой своей кончины.

По сообщению Михайловского, который знал Щедрина в течение многих лет, «у него не было никакой иной привязанности кроме читателя, никакой иной радости кроме общения с читателем». Но как же в таком случае, объяснить вышеприведенный резкий отзыв его о читателе? Этот бранный эпитет по адресу последнего сорвался у Щедрина с пера вследствие крайнего его огорчения от того, что читатели ничем не реагировали на закрытие дорогого ему журнала, в котором он в течение почти двух десятилетий непрерывно беседовал с читателем-другом, делясь с ним всеми своими помыслами. Когда же стряслось над ним огромное несчастье, то, как заявил Щедрин печатно, этот друг «заробел, затерялся в толпе и дознаться, где именно он находится, довольно трудно». Понятно поэтому, что «робость» читателя в такое тяжелое для него время не могла не огорчать всеми покинутого, одинокого, к тому же тяжело больного старика...

Среди заключенных на Каре во время моего там пребывания восьми или девяти рабочих произведения Щедрина кажется имели больший успех, чем у интеллигентов. Не помню, признавали ли они его выше или только равным нашим знаменитым классикам, но они видимо с огромным удовольствием слушали чтение его произведений во время чистки картофеля в камерах. Некоторых рабочих очень интересовали в особенности условия частной жизни этого симпатичного им писателя. Вызывался этот интерес вероятно тем, что тогда среди нас нередко происходили дебаты по поводу пребывания Тургенева в течение значительного периода его жизни за границей, в семье Виардо, к чему некоторые из нас относились крайне отрицательно. Но помнится мне, никто из нас, заключенных, ничего тогда не знал об условиях жизни Щедрина вплоть до лета 1888 г., когда к нам прибыл из Петербурга известный поэт П. Ф. Якубович: незадолго до своего ареста он встречался с Щедриным в редакции «Отечественных Записок». Оказалось однако, что у него также были очень скудные об этом сведения, которые, к тому же, улетучились. Помню только его рассказ о том, как принял его Щедрин, когда он впервые принес ему тетрадку со своими стихотворениями: перелистав ее и видимо наскоро пробежав некоторые стихи, суровый редактор, возвратил ему рукопись и пробурчал глухим голосом: «пишите, молодой человек, пишите!» Что, видимо означало: хотя слабовато, но подает надежду.

Вскоре затем под инициалами «П. Я.» стали появляться в периодических изданиях стихотворения этого молодого талантливого поэта.

Якубович с большой симпатией отзывался о Щедрине как редакторе и человеке: он сообщал, что при суровой внешности и отсутствии ласкового обращения Щедрин был в сущности добродушным, отзывчивым и заботливым о других человеком. Это теперь вполне подтверждается выше уже упомянутыми опубликованными Н. В. Яковлевым письмами его.

1889 год — год смерти Щедрина и столетнего юбилея Великой французской революции — особенно памятен нам, карийцам, так как известно, что он ознаменовался небывалым до того даже в России ужасным тюремным происшествием, получившим печальное название «Карийской трагедии».

Упомяну о ней только затем, чтобы объяснить, почему смерть этого замечательного писателя не запечатлелась в моей памяти: я не помню, когда известие о кончине Щедрина дошло до нас и какое впечатление оно произвело на нас, заключенных.

Только впоследствии, когда несколько улеглось неимоверно угнетенное состояние, вызванное нашей «трагедией», я стал знакомиться с происходившими в том памятном году в России событиями, но конечно до нас, заброшенных в отдаленное глухое захолустье Сибири, далеко не обо всем интересовавшем нас дошли известия.

В течение следовавших затем одиннадцати лет моего пребывания в так называемой «вольной команде» на Каре и на поселении мне, насколько помню, ничего существенного о Щедрине не приходилось слышать, и я долго не знал, как относилась к нему революционная молодежь конца 80-х и 90-х годов.

Очутившись вновь в эмиграции после побега из Благовещенска весной 1901 г., я сразу попал в среду «искровцев»: известно, что тогда Ленин со своими товарищами — Мартовым, Потресовым, Крупской и другими приверженцами нового тогда в России марксистского движения, приехав за границу, объединился с моими старыми товарищами — Плехановым, Засулич, Аксельродом, образовав сообща тесную организацию, в которую и я немедленно по приезде вступил. Но ни с кем из перечисленных здесь лиц мне не приходилось беседовать по поводу их отношения к давно умершему Щедрину и о его на них влиянии. Имеется однако в печати свидетельство другого лица, бывшего в конце 80-х годов народовольцем и ставшего затем марксистом, это — упомянутый мною выше М. С. Ольминский. В уже цитированном мною сборнике его статей о Щедрине находится специальная глава «Щедрин и Ленин», которая посвящена указанному вопросу, куда и отсылаю читателя. Здесь приведу из нее лишь следующие выдержки:

«В первом же своем боевом выступлении против выродившегося народничества Ленин... находил себе неизменного союзника в лице Щедрина. Находил и позже. Почему так случилось? Не потому ли, что Щедрин под конец своей жизни все более освобождался от уз народничества, в то время как народники, во главе с Михайловским, скатывались к либералам? И не потому ли у Ленина никогда не поднималась рука против Щедрина (в выноске к этому слову у Ольминского сказано: «по крайней мере я таких случаев не знаю»).— Л. Д.).

В дальнейшем Ольминский сообщает, что рассказ Щедрина (из «Мелочей жизни» о «хозяйственном мужичке») — «заставил меня (и не одного меня) в 80-е годы очень задуматься как народовольца. Щедрин так в конце концов ставил вопрос: вот честный, трудолюбивый крестьянин, не кулак — но с какой стороны возможно подойти к нему для революционной пропаганды? Выходило, что ни с какой».

Из этой выдержки явствует, что произведения Щедрина побуждали более вдумчивых народовольцев уже в конце 80-х годов переходить к марксизму. После этого становится вполне понятным, почему некоторые народовольцы отрицают его влияние на наше революционное движение. В этом отношении, как впрочем и во многих других, они глубоко ошибаются.

В заключение замечу: между тем как влияние Михайловского было большею частью реакционно, регрессивно, Щедрин, наоборот, действительно всегда звал молодежь вперед.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ О Ткачеве никто никогда не упоминал, и я его имя впервые прочел где-то лишь в начале 70-х годов.

² «Современник» 1857, № 6. Собр. соч., т. III, стр. 233, изд. 1918 г.

³ Полн. собр. соч., т. I, стр. 224. С.-Пб., изд. «Всемирной библиотеки».

⁴ Он сообщил об этом в своих воспоминаниях «О пережитом и передуманном».

⁵ В своих записках «За полвека» я сообщил о встрече с одним из бывших членов, дом Сошным, убеждавшим меня отказаться от революционной деятельности.

⁶ Помню, что мы платили букинистам по 15 и больше рублей за книжку «Современника», в которой был напечатан роман «Что делать?»

⁷ Теперь не помню, каким образом мы тогда же узнали, что Михайловский, смеивая избранный нами способ деятельности, называл хождение в народ «маскарадом с переодеванием», уподобляя это детскому крестовому походу и говоря, что для полного сходства недоставало, чтобы впереди отправляющихся в народ шел барабанщик с козлом. Нетрудно после этого себе представить, как многие из нас, семидесятников, относились к этому, будто бы тогда «властителю наших дум», как утверждают некоторые «хорошо осведомленные» современные «исследователи» революционного движения того отдаленного периода.

⁸ Михайловского некоторые из нас прямо обвиняли в трусости за его отказ от приглашения Лаврова эмигрировать за границу.

⁹ Забегая вперед на полстолетия, скажу здесь, что опубликованные Н. В. Яковлевым в 1924 г. «Письма М. Е. Салтыкова-Щедрина» вполне подтверждают правильность дошедших тогда до нас, семидесятиков, сообщений. Так, в ноябре 1876 г. Щедрин писал П. В. Анненкову: «Политические процессы следуют одни за другими, не возбуждая ничего любопытства, и кончатся сплошь каторгою... Каторга за именование книги и за недонесение — это уже просто роскошь для такого бедного государства, как наша Русь. Подумайте только, как мало нужны нам люди и как легко выбрасываются за борт молодые силы, и вы найдете, что тут скрывается некоторый своеобразный трагизм».

Не менее интересно его отношение к «Нови». «Роман этот показался мне в высшей степени противным и неопытным, — писал он тому же П. В. Анненкову 17 февраля 1877 г. — Я совершенно искренно думаю, что человек, писавший эту вещь, выжил из ума... Это не роман, а бесконечная случайная болтовня... Никакого признака тургеневской кисти тут нет, т. е. даже в архитектуре романа... С внутренней стороны эта вещь еще более слабая... Что касается до так называемых «новых людей», то описание их таково, что хочется сказать автору: старый болтунище! Ужель даже седые волосы не могут обуздать твоего лганья... Все это можно писать, лишь впадши в детский возраст» («Письма», №№ 121 и 124).

¹⁰ Сперва этот отзыв появился в «Вестнике Европы» 1880, № 1, затем, в I т. Собр. соч. Е. И. Утина.

¹¹ По цензурным условиям очерк этот не появился в печати и дальнейшая его судьба мне неизвестна. Из Ильи Николаевича Игнатова, как известно, не вышло беллетриста; впоследствии он стал литературным и театральным критиком, написал статьи и о Щедрина и был редактором «профессорски-скучных» «Русских Ведомостей». Подробно о нем см. в сборнике «Группа «Освобождение труда», №№ 1 и 3.

¹² В этом отношении безынтересны его лекции о русской литературе, читанные им в С.-А. С. Штатах; они вышли и по-русски.

¹³ «La Russie sociale et politique», стр. 363. На предшествовавших страницах этой книги Лев Тихомиров еще восторженнее отзывался о Щедрина; приведу следующую выдержку: «...Шедеврами сатиры Россия обязана Щедрину (Салтыкову). Поразительно плодovitый и всеобъемлющий писатель, он отображает в своих сатирах все стороны современной ему жизни. Его изобретательность поразительна. Это неиссякаемый поток шуток и насмешек, то веселых, то злых. Своим талантом он сумел покорить даже тех, кого он вывел на посрамление. Даже цензура, и та иной раз не поднимает руку на Щедрина, и в то время, когда вся пресса обречена на молчание, он задевает самые щекотливые стороны действительности. Он вывел на свет божий основателей Священной Лиги, предал на посрамление шпионство, выявил всю низость правительственной реакции и т. д. Само собой разумеется, очень многие из его сочинений запрещены, но он умеет обходить трудности; он даже создал свой собственный язык, «рабий язык», как он сам его называет, язык необычайно гибкий, который режет, как бритва, не давая в то же время противнику возможности придраться к чему бы то ни было» (стр. 361—362).

¹⁴ Несмотря на столь оригинальные взгляды, совершенно противоречащие учению Маркса, одни из наших современных исследователей все же признают Зиберу «родоначальником марксизма в России», другие не с большим основанием из кожи лезут, стараясь возвести в тот же сан Ткачева.

¹⁵ О л ь м и н с к и й, М., Статьи о Щедрина, стр. 46. ГИЗ, 1930.

¹⁶ См. сборник «Группа «Освобождение труда», № 4, стр. 357—388. ГИЗ, 1926.

¹⁷ 1888 г.

¹⁸ После состоявшегося 20 апреля 1884 г. закрытия «Отечественных Записок».

¹⁹ Вот какого мнения был Щедрин о «Вестнике Европы» и о «Русской Мысли»: «...мое участие в нем (в «Вестнике Европы». — Л. Д.) я считаю ниспосланною мне провидением карою... Но, во всяком случае, это не такой совершенный нужник, как «Русская Мысль», а только ватерклозет».